

НИЧЕЙ



18+

ВАДИМ МАРТОВСКИЙ

Вадим Мартовский

Ничей

<https://litres.ru/74025161>

SelfPub; 2026

Аннотация

В московских 90х рождается мальчик, которого невидимая система помечает как объект наблюдения. Он растёт «обычным» ребёнком, но видит мир как набор сигналов и закономерностей, а не как уютную историю. Для всех он чужой и странный, для регистра — идеальный датчик эпохи. «Ничей» — роман о человеке между любовью и протоколом, который пытается стать чьим то, оставаясь частью чужого эксперимента.

Вадим Мартовский

Ничей

НИЧЕЙ

Пролог. Внедрение

Он родился ранним утром и слишком быстро.

На другой стороне кровати было пусто: он ушёл на ночную смену ещё вечером, как делал это часто.

Её разбудило ощущение, будто живот сжали изнутри тугой рукой.

Она попыталась повернуться на бок — боль не отпустила, а наоборот, разошлась по кругу, как кольцо, которое стягивают на один размер меньше.

За окном была московская предрассветная серость: фонари уже погасли, а небо ещё не решило стать днём.

Она посмотрела на часы, машинально попыталась дышать «по учебнику», как учили на курсах, но следующая волна накрыла почти сразу.

Скрутило так, что ни о каком «встать и дойти самой» не могло быть речи. Пришлось ухватиться за подоконник, хотя рукой до него едва дотягивалась.

В восемь лет в доме появился первый дорогой видеомагнитофон — предмет почти семейной гордости. Когда он вдруг перестал работать, взрослые только растерянно смот-

рели на него, как на сложную и капризную технику. Алексей подошёл, снял крышку, несколько секунд молча смотрел внутрь, будто не разбирался, а просто вслушивался в логику механизма, потом повернул одну деталь — и всё снова заработало. Никто толком не понял, как именно он это сделал. Да и он сам не смог бы объяснить. Но именно тогда впервые стало видно то, что потом будет сопровождать его всю жизнь: он умел видеть не только людей, но и механизмы — и чувствовать, как именно всё должно работать.

В коридоре стояли её туфли, старый плащ, на вешалке висела школьная сумка — та самая, с которой она вчера возвращалась из школы, где рассказывала восьмому классу про начало войны.

На табуретке лежала стопка непроверенных сочинений.

«Успею потом», — промелькнуло и тут же исчезло под новой схваткой.

Позвать было некого.

Он на смене. Мать ещё не пришла. Соседи, если и проснутся от её крика, не смогут сами её донести.

Пришлось сначала дотянуться до телефона.

Пальцы дрожали, цифры на диске казались слишком маленькими. Она назвала адрес, попыталась спокойно объяснить, но на середине фразы согнулась, выронив трубку на ковёр.

Транспорт нашёлся не сразу.

Такси, куда она дозвонилась первой, отказалось ехать «так

рано». Фраза «у меня схватки» в трубке звучала удивительно беспомощно — как будто она просит об одолжении, а не о помощи.

В итоге приехала «скорая» — старый УАЗ, пахнущий железом и лекарствами.

— Держитесь, — сказала фельдшер, подтягивая носилки прямо к кровати. — Первый?

— Второй, — выдохнула она.

— Ну... будете быстро рожать. Уже часто?

Она только кивнула. Про то, что с первой схватки будто сразу «началось всерьёз», объяснять не было ни сил, ни смысла.

Её аккуратно переложили на носилки. До двери она уже дойти бы не смогла.

Машина шла по пустым, неосветлённым улицам.

Она вцепилась пальцами в край носилок и вдруг ясно подумала: «Главное — чтобы он был живой».

Регистр: Субъект: женщина, 26 лет, преподаватель истории. Локация: крупный мегаполис; высокая плотность социальных изменений. Социальный статус: низкий средний класс, интеллигентская среда. Временной интервал: предрасветный; низкая загрузка инфраструктуры. Состояние: активная родовая деятельность, ускоренное течение, выше средней скорости, в пределах допустимых параметров. Решение: инициировать вывод объекта.

Роддом встретил их тусклым светом и запахом хлорки.

— Вы куда так поздно... то есть рано? — пробурчала медсестра, заглядывая в направление. — У вас уже...

Она не договорила: женщина согнулась от очередной схватки прямо на носилках.

— Уже в родах, — сказала медсестра, глянув на неё и на часы. — Бумажки потом.

— Пошли, — коротко бросила акушерка санитару.

Её почти бегом повезли по коридору, раздвигая шторы и двери плечом.

В приёмном она успела только почувствовать холод клеёнки под спиной. Команды посыпались буднично, как будто это была обычная утренняя процедура:

— Дышим. — Не кричим. — Не тужимся. — Теперь — тужимся.

Тело работало быстрее мыслей.

Время сжалось до промежутков между вдохом и выдохом. Казалось, что часы вообще перестали двигаться, и есть только эти короткие отрезки боли и пауз.

— Уже голова, — сказала акушерка. — Быстренький у вас.

Ещё одно усилие — и внутри мгновенно стало пусто и легко, как будто из неё вынули тугий узел.

Крик пришёл сразу: резкий, живой, без долгого поиска воздуха.

Акушерка поднесла ребёнка к лампе, отработанными движениями перерезала, прижала, обтерла.

— Мальчик, — сказала она. — Кричит хорошо.

— Живой? — спросила мать, отбрасывая всё остальное.

— Живой. Не волнуйтесь.

Она подняла маленькую руку. Пальцы распрямились — тонкие, чуть длиннее обычного, будто примеряя воздух.

Когда ребёнок инстинктивно упёрся, локоть выгнулся сильнее, чем привыкли видеть.

— Ого, гибкий, — фыркнула акушерка. — Ничего, выровняется.

В карточке появились цифры: вес, рост, время.

Обычные цифры в обычной строке. Комментарий: «верхняя граница нормы; гибкость локтевых суставов — повышена».

Регистр:Объект: N01.Коррекция физиологических параметров: выполнена.Оценка: маскировка — достаточная; функциональность — в пределах планируемых параметров.Статус сознания объекта: спящий режим; доступ к верхнему уровню — ограничен.Задача объекта: наблюдение и интеграция в стандартный человеческий жизненный цикл.»

Ей показалось, что он смотрит на неё слишком собранно для новорождённого.

Глаза ещё мутные, но в этом взгляде было напряжение, как будто он прислушивается не только к её голосу, но и к чему-то, что здесь не звучит.

— Торопись жить, — сказала она, чтобы заполнить тишину.

Ему приложили к груди.

Её сердце, сбивчивое и тяжёлое, услышало его дыхание — частое, неровное, но уверенное, как шаги, которые только что начались и ещё ни разу не сбились.

Она закрыла глаза и впервые за эту короткую, но бесконечную ночь позволила себе расслабиться.

Она улыбнулась, усталая и счастливая.

Глава 1.

Первое, что он помнит, — это запах.

Не лицо, не голос, не игрушку. Запах кухни в семь утра: холодный воздух от форточки, тёплый — от батареи, и между ними тонкая полоса чего-то кислого и живого, как будто сама комната только что проснулась.

Холодильник в углу гудел ровно, почти без перерыва. Иногда гул становился чуть глубже, как будто внутри просыпался маленький мотор, и снова выравнивался. Если холодильник гудит — значит, всё ещё работает как надо.

Зимой свет был серым и поздним, летом — ранним и резким, бившим в стекло так, что на полу появлялась прямоугольная полоса. Он знал, в какое время года полоса доходит до ножки стола, а в какое — до середины пола, хотя никогда это не считал. Так он и запоминал жизнь: по запаху, звуку и тому, как падает свет.

Кухня была маленькой, почти квадратной.

Четыре шага от двери до окна. Три — от плиты до стола. Схема лежала где-то внутри: дверь, окно, плита, стол, хо-

лодильник. Если кто-то сдвигал стул, схема менялась, и это ощущалось как лёгкий толчок изнутри. Зелёная краска на стенах местами облупилась, под ней виднелись серый и белый слои. На подоконнике стояли две банки с землёй. В одной ещё держался тонкий зелёный стебель, в другой торчал сухой прутик. Их не выбрасывали. Он просто знал, что они «должны быть» — часть постоянного фона.

В то утро мама стояла у плиты.

Запах шёл волнами: сначала горячая вода, потом картофель — крахмальный, немного землистый, потом масло, потом лук. Лук он учуял ещё до того, как мама достала его из сетки: запах начинался раньше ножа, как будто лук заранее всё знал.

Мама была в халате поверх вчерашней кофты. Волосы стянуты резинкой. Лицо усталое — не печальное и не злое, а такое, будто усталость — это привычная маска, которую она снимает только ночью. Он не знал, как это называется, но чувствовал: мама как эта краска на стене — верхний слой держится, а под ним уже проступает что-то серое.

Иногда ему хотелось чем-то помочь, но он не понимал чем. Поэтому садился за стол чуть раньше и ел чуть медленнее — чтобы она дольше сидела напротив, а не стояла у плиты. В те дни, когда она всё-таки садилась и ела вместе с ним, внутри становилось тише. Если она оставалась у плиты, он чувствовал, что делает что-то не так, даже если ел молча.

Стол занимал почти половину кухни. Клеёнка с жёлтыми

пятнами повисала посередине, так что тарелка всегда чуть съезжала к центру. Кружку он ставил немного вправо, чтобы она оставалась на месте. Это был маленький способ исправлять наклон мира.

Стульев было четыре.

Два ближе к окну — его и мамин. Её стул был самым ровным и тихим, его — чуть скрипел, если сесть резко.

Третий, пониже и с оббитым уголком, был Стасика: возле него чаще всего оставались крошки и капли чая. Даже когда брат не сидел за столом, стул выглядел так, будто на нём только что кто-то ёрзал.

Четвёртый стоял чуть в стороне, под углом. На спинке висела мужская рубашка в мелкую клетку. Ткань пахла табаком и металлом, как мелочь в кармане.

На этот стул он не садился. Никакого запрета не было, но тело каждый раз само делало маленький шаг в сторону. Воздух рядом казался гуще, как будто место попрежнему занято.

Ему стул казался одновременно самым пустым и самым занятым в комнате. Он ещё не мог связать это с конкретным человеком, просто чувствовал: здесь чего-то не хватает, и про это не говорят.

Он сел на свой стул.

Одна ножка была чуть короче, он автоматически сместил вес — три сантиметра влево, больше на правую сторону — и стул перестал качаться. Тело помнило это лучше головы.

На столе уже стояла его кружка. Белая, с синей полоской и маленькой щербинкой. Он всегда поворачивал щербину от себя: так вкус чая оставался только чаем, без ощущения песка на зубах.

На подоконнике сидела рыжая кошка с белым пятном на груди.

Она жила у соседей и, по словам бабушки, «никому не давалась». Но иногда приходила сюда и смотрела именно в их кухню. Сейчас она смотрела на него. Взгляд был спокойный и внимательный, как у того, кто давно всё про тебя понял и ещё раз проверяет.

Он посмотрел в ответ.

Кошка медленно закрыла глаза, открыла, снова закрыла и свернулась клубком.

— Опять пришла, — сказала мама, оглянувшись. — К тебе только и ходит.

Он промолчал. Иногда ему казалось, что кошка смотрит не на кухню, а прямо в него. От этого внутри становилось чуть ровнее.

Мама поставила на стол тарелку с картошкой и кусок хлеба.

— Ешь. Пока горячее.

Он поднёс ложку ко рту и остановился на секунду — почувствовать.

Картошка пахла «правильно»: чуть паром, чуть землёй, маслом — не слишком, но так, чтобы оно ощущалось язы-

ком тонкой плёнкой. Солёность была ровно на границе: ещё немного — и будет «слишком», сейчас — почти идеально.

Он сделал первый глоток.

Горячее отпечаталось на нёбе, но не обожгло. На языке вкус распался на части: мягкий крахмал, слабая горечь поджаренной корочки, тёплое масло.

Когда вкус попадал в эту тонкую «полосу правильности», внутри тоже становилось чуть спокойнее — как будто хотя бы здесь всё сделано так, как надо. В те редкие дни, когда картошка оказывалась переваренной или пересоленной, он чувствовал это ещё до первой ложки и заранее внутренне напрягался, как перед днём, где что-то обязательно пойдёт не так.

Мама налила себе чай, села напротив, открыла ученическую тетрадь и взяла красный карандаш.

Он смотрел на её руку с карандашом, потом на трещину на потолке.

Трещина начиналась над лампой, шла вправо, ломалась и тянулась к двери. Если смотреть от окна, она делила потолок примерно пополам: с этой стороны — он и мама, с той — стул Стасика и стул с рубашкой.

Он потянулся за хлебом.

Рука прошла над столом — длинная, чуть неловкая. Локоть выгнулся дальше, чем у других. Кружка с компотом дрогнула и поехала к краю.

Мама поймала её за ручку, даже не глядя.

— Осторожней, — сказала она. — Руки у тебя...

Она не договорила.

Посмотрела на его локоть, потом на лицо. В этом взгляде было что-то между «всё нормально» и «что-то не так», что она оставила на потом.

Он убрал руки под стол.

Не потому что стыдно. Просто внутри щёлкнуло: «со мной подружому». Без слов «красиво» и «уродливо», просто факт — не как у остальных.

Он посмотрел на свои пальцы под столом — длинные и какие-то не такие, как у других. И вдруг очень захотел, чтобы они были другими. Не лучше и не хуже, а такими, про которые не вспоминаешь каждый раз, когда на них смотрят.

— Не пролей, — тихо сказал он, скорее себе.

Мама задержала на нём взгляд, потом вернулась к тетради.

За окном скрипнул снег — кто-то прошёл по двору.

Он проследил звук: шаги приближались, потом отдалялись и исчезли за домом. Внутри получилась линия, как стрелка на схеме: отсюда — туда.

На кухне стало очень тихо.

Холодильник гудел ровно. Красный карандаш шуршал по бумаге. Запах картошки становился мягче, отдавая на язык меньше пара и больше масла.

Он допил чай, поставил кружку так, чтобы щербина смотрела в сторону стены. Тарелка стояла по центру его стороны

стола. Кошка спала на подоконнике. Мама чертила красные линии в чужой тетради.

Когда всё было на своих местах, внутри тоже становилось немного спокойней. Хотелось, чтобы так было подольше.

Глава 2.

Ему снился свет.

Не дневной и не из окна — слишком близкий. Оранжевый, густой, как если бы лампу подвинули к самому лицу. Откуда-то сбоку шёл жар, от которого щипало кожу, хотя нигде нельзя было увидеть сам источник. В воздухе стоял запах — немного сладкий, немного горький, как от подгоревшей корки.

Он хотел отойти, но ноги будто приросли к полу. Свет ещё чуть приблизился, стал белее, и в груди стало тесно, как перед криком.

Его разбудил холод.

Он ещё не открыл глаза, но почувствовал, что комната стала другой: воздух стал жёстче, плотнее, как в подъезде, когда дверь долго не закрывают. Холод тянулся от порога к кровати тонкой полосой.

Потом пришёл запах.

Бетон, мокрая одежда и что-то лекарственное, как в аптеке, куда водили бабушку «за сердцем». По этому запаху он понял: бабушка уже пришла с улицы и не успела согреться.

Он моргнул и увидел её в дверях.

Пальто застёгнуто не до конца, на платке — мелкие кап-

ли, будто дождь успел чуть подсохнуть. Пальцы рук чуть растопырены, как бывает, когда они замёрзли, а варежки были тонкие или их вовсе не было.

— Вставай, — сказала она. — Поедем за мамой.

Голос был ровный, без праздника и без тревоги. Просто факт.

Он сел, ноги запутались в пижаме, одеяло съехало на пол. Бабушка уже подошла, подняла одеяло, встряхнула и одним привычным движением накрыла кровать — так, как будто каждое утро начинает с того, что всё ставит на место.

В коридоре висела его куртка. Рядом — Стасикина, чуть длиннее. На нижнем крючке болталась маленькая шапка — «потом Вике», пока ещё пустое место.

На стуле лежал костюм.

Один, «почти новый». Его купили «на вырост» и «на случай», когда надо выглядеть прилично. Ткань была чуть жёсткая, с лёгким блеском, пахла магазином и чьимито руками, которые её уже перетрогали.

Костюм висел на спинке стула, как отдельный, более важный предмет.

Стасик уже стоял под ним, задрав подбородок.

— Я его надену, — сказал он. — Весь.

Алексей посмотрел на пиджак и брюки. Для него они были одной вещью — как две половины одной линии.

— А я? — спросил он. Без «пожалуйста» и «дай», просто пытаюсь понять.

— Ты маленький, — отмахнулся Стасик. — Мне нужнее.

Он протянул одну руку к пиджаку, другую к брюкам — так, будто собирался снять их целиком, сразу.

Внутри у Алексея что-то тихо сжалось. Не от обиды. От самой идеи, что один человек может забрать всё, если второй идёт в то же место. На миг мелькнула мысль отойти и не вмешиваться: «пусть решают сами». От этой мысли внутри стало перекошено — как брюки, если один раз подогнуть, а другой оставить как есть.

Он шагнул вперёд и встал между Стасиком и стулом. Не толкнул, не ударил — просто закрыл собой.

— Мы вдвоём идём, — сказал он. — Значит, и костюм... тоже вдвоём.

Слова прозвучали странно даже для него самого, но другого объяснения не было.

В коридоре на секунду стало очень тихо.

Бабушка, копавшаяся в шкафу, обернулась. Взгляд — на одного, на другого, на костюм.

— Прекратите, — сказала она. Голос был не громкий, но плотный, как её ладонь на запястье. — Не на базар собрались.

Она подошла, сняла костюм со стула.

— Так, — сказала. — Раз сами поделить не можете, я разделю.

Одним движением она отделила пиджак от брюк.

— Ты старший, — кивнула Стасику, — будешь сверху

красивый. Пиджак твой.

Повернулась к Алексею:

— А ты снизу. Брюки тебе. Рубашка у тебя и так хорошая. Никто не голый, никого не обидели.

Стасик фыркнул, но промолчал. Пиджак сел на него чуть коротковато в рукавах.

Брюки на Алексее оказались длиннее, чем надо. Он сразу прикинул: если подогнуть их два раза, края перестанут собираться гармошкой на ботинках.

В зеркале в прихожей отразились двое детей в одном костюме: верх — на одном, низ — на другом.

Алексей почему-то подумал, что у них так и будет часто: один будет забирать «сверху», другой — подбирать «снизу». И целого ни у кого не получится.

Бабушка застегнула ему молнию, поправила воротник, подтянула ремень.

— Всё, — сказала она. — Пора. Мать ждёт.

Подъезд пах влажной штукатуркой и старой краской. На площадке чуть тянуло холодом из щели под дверью.

Бабушка держала его не за ладонь, а за запястье — крепко, как всегда. Стасик шёл впереди, подпрыгивая на ступеньках, от чего лестница отзывалась глухим эхом.

На остановке уже стояли люди.

Мужчина в шапке, женщина с сеткой, ещё кто-то с сумками. Он машинально пересчитал: один пакет, две сумки, одна клетчатая сумка с деревянной ручкой. Когда всё можно

пересчитать, мир казался понятнее.

Бабушка чуть придвинула его к себе.

— Держись рядом, — сказала. — Народу много.

Троллейбус подъехал со звоном штанг. Двери открылись, выпуская тёплый воздух — тяжёлый от мокрой одежды, старой резины и металла. Под этим был ещё один, сухой, почти невидимый запах — электричества, как от маленькой искры.

Они вошли в середину. Бабушка встала так, чтобы закрыть его собой. Стасик протиснулся к окну, вцепился в поручень и уже выглядывал наружу. Алексей взялся за другой поручень. Металл был гладким и холодным.

Троллейбус дёрнулся и поехал. Люди качнулись, как одно тело. Внизу загудел мотор — глухо, с вибрацией, которая сначала уходила в ноги, потом поднималась к зубам. Вокруг шёл обычный шум: обрывки слов про цены, работу, магазины. Он слушал скорее паузы между ними, чем сами слова.

Потом появился другой запах.

Сначала очень слабый, как от старой включённой плиты. Потом сильнее — горелой резины и пластика. Он поднимался снизу, через подошвы.

Живот внутри чуть сжался — маленький тугий узел, как от мысли «сейчас будет укол». Он ещё не знал слова «опасность», но тело уже знало, что что-то идёт не так.

Он опустил взгляд. Сквозь резиновый коврик ничего не было видно, но тепло под ногами ощущалось: как будто пол стал на один градус горячее.

— Пахнет, — сказал кто-то сзади.

— Чувствуете? — отозвался другой.

Он открыл рот, чтобы сказать, что снизу горячо, почти как от плиты, когда она вотвот пригорит. Слова встали где-то между горлом и языком и не вышли. Взрослые уже говорили, и казалось, без него всё видно.

Водитель что-то выкрикнул вперёд, но слов разобрать было нельзя — только резкую, короткую интонацию.

Мотор загудел громче, потом, наоборот, оборвался. Троллейбус дёрнулся и начал тормозить. Люди заговорили громче, кто-то ругнулся, кто-то зашептал.

Тепло под ногами усилилось. Теперь оно было не только в ступнях — поднялось до колен. Казалось, если бы сейчас снять обувь, можно было бы сказать, где именно под полом горячее всего.

Узел в животе затянулся ещё туже.

Это было не похоже на страх. Скорее на то, как если бы внутри кто-то собрал всё внимание в одну точку и сказал: «Смотри сюда».

Когда двери наконец распахнулись, толпа дёрнулась разом.

Кто-то толкал вперёд, кто-то удерживал тех, кто поменьше. Бабушкина рука на его запястье исчезла на короткий миг — этого хватило, чтобы внутри на секунду раскрылась пустота, как бездна под ногами. Потом пальцы снова сомкнулись, крепче, чем раньше.

Он краем глаза увидел, как Стасика тоже кто-то дёрнул за рукав — не дать затеряться.

Они выбрались на улицу.

Прохладный воздух ударил в лицо. Двор был обычный: мокрый асфальт, голые деревья, машины вдоль бордюра. Только у троллейбуса воздух был другим — тёплым и чёрным.

Изпод днища шёл дым. Он стелился по асфальту, цеплялся за колёса, поднимался вверх. Огонь не был виден, но по тому, как люди стояли полукругом и не подходили близко, было ясно: там, внизу, что-то очень неправильно.

Запах горелой резины сейчас был без примесей — острый, громкий. Так пахла вещь, которая больше не будет работать.

Ему хотелось пересчитать людей — кто вышел, кто остался, — но счёт сбился. Вместо этого он запомнил другое: кто полез первым, кого оттолкнули, кто смеялся высоким, нервным смехом, кто молчал, уцепившись за поручень до последнего.

Он ещё раз подумал, что мог сказать про жар раньше. Но теперь говорить было поздно, и эта мысль прижалась где-то внутри, как маленький горячий камушек.

— Пошли, — сказала бабушка. — Нам тут не стоять.

Она развернулась и пошла вдоль дороги.

Стасик шёл чуть впереди, оглядываясь на чёрный дым через плечо.

Алексей шёл рядом с бабушкой, чувствуя, как узел в животе постепенно распускается, оставляя вместо себя пустоту и запах гари в одежде.

До следующего транспорта они шли пешком.

Асфальт под ногами был мокрым от недавнего дождя, с тёмными лужами вдоль бордюра. Воздух — холодный, с лёгким запахом сырости и бензина. Бабушка иногда останавливалась, переводила дыхание, смотрела на табличку остановки, как на пункт в списке.

Она ничего не объясняла. За всю дорогу сказала только: — Главное — доедем. Мать ждёт.

Этого было достаточно.

Стасик то забегал вперёд, то возвращался и шёл рядом, шмыгая носом. Он делал вид, что ему просто зябко, но Алексей чувствовал: внутри у брата тоже осталось то тепло от троллейбуса, только другого рода.

Роддом пах хлоркой.

Запах был такой сильный, что казалось, им вымыли не только пол, но и стены, и воздух. Под хлоркой чувствовались другие слои: лекарства, чьято кожа, молоко и усталость.

Коридор был длинный, с линолеумом, по которому шаги звучали громче обычного. Скамейка у стены — деревянная, холодная. Они с бабушкой сели, Стасик остался стоять, прильнув к стене, то и дело выглядывая в сторону двери.

Люди ходили тудасюда: в халатах, в пальто, с пустыми простынями, с металлическими мисками. Слова «давле-

ние», «кесарево», «палата», «подождите» долетали кусками и проваливались в общий шум.

Алексей сидел, свесив ноги, и считал: раздватри — медсестра в белом, раздва — мужчина, который смотрит в пол, раздватричетыре — дверь открылась, закрылась.

Считать было спокойнее, чем просто ждать.

Стасик не считал. Он грыз ноготь и косился на часы над дверью.

Когда мама вышла, Алексей сначала почувствовал её запах.

Не домашний — не лук, мел и чай, — а другой: мыло, лекарства и что-то тёплое, новое, как свежий хлеб.

Она стала легче, чем он её помнил — не по весу, а по тому, как держала себя. Как будто внутри неё появилось больше воздуха.

На руках у неё был белый свёрток.

Бабушка поднялась первой, подошла. Они тихо обменялись несколькими словами — слова растворились в шуме, осталась только интонация: усталость и то самое новое тепло.

— Идите сюда, — сказала мама. — Познакомьтесь.

Стасик подошёл первым.

— Это что, и правда девочка? — спросил он, заглядывая в свёрток. — Настоящая?

— Настоящая, — сказала бабушка. — Вика.

— Я старший, — сказал Стасик как факт, и в этом было

больше привычки, чем радости.

Потом мама посмотрела на Алексея:

— Иди.

Он подошёл ближе.

Свёрток шевельнулся. Внутри было маленькое лицо — кожа чуть красная, веки плотно сжаты, нос почти невесомый. Рот сжат, но не до конца, как будто он ещё выбирает, что делать: плакать, молчать или просто дышать.

Слова встали где-то внутри и не вышли.

Он поднял руку.

Пальцы ещё помнили поручень троллейбуса и бабушкину хватку. Он осторожно коснулся края одеяла. Ткань была тёплой и грубой. Тепло шло изнутри — ровное, живое, не как от батареи.

Вика не плакала.

Она просто лежала и дышала. Потом едва заметно повернула голову — не к свету, не к матери, а в его сторону. Веки не раскрылись, но движение было точным, как у кошки на подоконнике, которая выбирает, куда смотреть.

Он задержал дыхание.

Внутри на секунду стало очень тихо. Ни троллейбуса, ни дыма, ни узла в животе. Только её дыхание и его собственное, которое почему-то выровнялось рядом.

Он наклонился чуть ближе и очень тихо сказал:

— Живи.

Где-то сбоку Стасик фыркнул — то ли от неловкости, то

ли от того, что не нашёл своих слов. Бабушка молчала, держа в руках пакет с вещами «для мамы».

А он стоял и слушал, как два дыхания — её и его — попадают в один ритм.

Глава 3.

Он не сразу понял, что Вика теперь «живёт здесь».

Сначала был только шум. Дверь хлопнула, в коридоре зашуршали пакеты, бабушка сказала «тише», мама — «аккуратней». Его несколько раз отправляли «не мешаться», и он ходил из комнаты в комнату, как по новому месту, хотя это была та же квартира.

Через какое-то время всё улеглось.

Бабушка ушла на кухню, гремела посудой и шепталась сама с собой. Мама прилегла на диван, не раздеваясь, и на минуту закрыла глаза. В комнате остались простые вещи: кровать, диван и новая деревянная кроватка у стены, которой ещё недавно не было.

Алексей остановился в дверях.

Вика лежала на спине, укрытая тонким одеялом почти до подбородка. Лицо уже было не такое красное, как в роддоме, но всё равно ещё не похоже ни на кого из знакомых ему людей. Здесь, дома, её дыхание казалось тише, чем там, где пахло хлоркой.

Он подошёл ближе.

Кроватка пахла свежим деревом и порошком. От неё тянуло теплом — не батарейным, а живым. Вика чуть пове-

ла носом, будто пробовала воздух, и на секунду приоткрыла рот, но не проснулась.

В коридоре скрипнула доска, на кухне звякнула тарелка — обычные звуки дома. Он прислушался: ничего в этих звуках её не тревожило.

Он положил ладонь на край кровати.

Сегодня его руки уже держались за поручень троллейбуса, за бабушкино запястье, за край больничного одеяла. Теперь — за это дерево. Не от страха, а чтобы не уходить слишком далеко.

Вика шевельнула пальцами под одеялом, будто хватала кого-то во сне.

Он стоял и слушал два дыхания: её — чуть частое, и своё — которое рядом почему-то становилось ровнее и медленнее.

В этот момент квартира тоже казалась другой.

Как будто к схеме «мама — бабушка — Стас — он» добавилась ещё одна точка, и теперь линии между ними надо было прорисовать заново. Место, где раньше была просто стена, стало отдельным маленьким центром.

Стас заглянул в комнату, постоял в дверях.

— Смотри, не разбуди, — сказал он автоматически, как взрослый, и тут же убежал дальше по коридору, стукнув плечом о косяк.

Алексей не двинулся.

Он не знал, как правильно «не разбудить». Просто стоял

и смотрел. Ему не хотелось уходить. Мир стал чуть больше — и впервые от этого не стало страшно.

Из кухни позвала бабушка:

— Алексей, иди, помоги.

Он ещё секунду постоял, запоминая, как именно лежит её одеяло и на каком уровне начинается тёплая складка. Потом убрал ладонь с бортика и вышел.

Тепло в комнате осталось позади, как маленький свет, который теперь никогда не выключится полностью.

Глава 4.

Ему было пять лет, и во дворе уже всё было «разделено».

Турник — старшим. Песочница — тем, кто пришёл раньше. Скамейка под окном — бабушкам. Про него говорили коротко:— Это из второго подъезда. Странный.

Летом взрослые стали чаще говорить шёпотом.

У машины во дворе стояли двое, курили и повторяли одни и те же слова: «танки, Белый дом, Ельцин». Вечером телевизор светил дольше, голоса там были сердитые и серьёзные. Он не понимал, что именно случилось, но чувствовал: взрослые чего-то боятся.

А во дворе всё равно делили песок.

Он стоял у края песочницы.

Внутри трое строили «крепость». Мальчик в красной футболке — громкий, командует. Девочка в розовой куртке лепит башни. Ещё один мальчик бежит с палкой — то меч, то флаг.

Раньше он только смотрел из окна или проходил мимо, держась за бабушкину руку. Сегодня бабушка сказала:

— Иди, поиграй. Я из окна посмотрю.

Сказала так, как будто разрешила.

Он спустился во двор.

Песок был тёмный, влажный, хорошо лепился. Воздух пах сыростью, кошками из подвала и жареной картошкой из чьего-то окна.

Мальчик в красной футболке заметил его первым.

— Ты кто? — спросил он, не переставая копать.

— Алексей, — сказал он. — Из второго подъезда.

Так было правильно: имя и откуда.

— Будешь стены делать — заходи, — сказал мальчик. —

Ров — наш.

Он спрыгнул в песочницу.

Под ногами было чуть холодно. Место нашлось само — сбоку, там, где стенка уже осыпалась и песок завалился внутрь.

Они копали молча.

Гдето наверху крикнули: «Домой!», по асфальту проехал старый велосипед, на лавочке бабушки громко обсуждали новости: — Опять танки по телевизору. — Лишь бы не война.

Слова «танки» и «война» он слышал на маминых уроках истории. Здесь, на песке, они звучали странно, как будто кто-то перепутал времена.

Первым начал мальчик в красной футболке.

— Ты криво роешь, — сказал он второму и толкнул его плечом.

Толчок был не сильный, но проверочный — посмотрел, отойдёт тот или нет. Второй смялся, отступил, промолчал.

У Алексея внутри что-то сжалось — маленький тугой комок, как тогда в троллейбусе, когда становилось слишком жарко и пахло гарью.

Он посмотрел на свои руки. Одна продолжала ровнять стену, другая сама потянулась туда, где песок сильнее всего осыпался.

— Нормально я рóю, — пробормотал второй.

— Нормально — это когда я сказал нормально, — ответил красная футболка.

Остальные засмеялись. Алексей — нет.

Ему хотелось пересчитать всех: один толкает, один терпит, один смеётся. От этого легче не становилось, но так было привычно — сложить всё в ряд.

— Чего застыл? — бросил ему красная футболка. — Подгребай.

Он стал подгребать. Но не там, где показал «главный», а там, где стена уже крошилась, рядом с башнями девочки в розовой куртке.

Она заметила первой.

— Ты странный, — сказала она спокойно, без обиды и без смеха.

Он вздрогнул сильнее, чем от толчка.

— Почему?

Она чуть повела плечами.

— Они толкаются, а ты внутри сжимаешься, как будто тебя. И строишь не там, где велели, а там, где падает.

Он подумал. Это было очень похоже на правду.

— А ты не сжимаешься? — спросил он.

— Я отворачиваюсь, — ответила она. — Если смотреть, потом внутри всё дёргается.

Слово «дёргается» точно подходило к тому комку в животе.

Сверху из чьего-то окна донёсся голос диктора:— ...у здания Белого дома стоят танки...Окно хлопнуло, звук оборвался.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Лена. Я из третьего.

— Алексей. Из второго.

Теперь это уже было не «отчёт», а маленькая карта: он — тут, она — там, посередине песочница.

Мальчик в красной футболке в это время решал, кого толкнуть следующим. Алексей видел, как у того напряглись плечи и сжались пальцы на палке.

Он сказал то, что уже сложилось в голове:

— Если ров тут глубже, вода уйдёт.

Он показал ладонью туда, где тот только что копал.

Мальчик остановился.

— Откуда ты знаешь?

— Тут ниже, — сказал Алексей. — Вода сюда пойдёт. Стена развалится.

Он не был уверен, но в голове линия рисовалась именно так.

Красная футболка посмотрел на песок, на его руку, потом — на Ленины башни.

— Ладно, — сказал он. — Тогда ров тут, а вы стену там. Толчок, который уже почти полетел в чьёто плечо, тихо ушёл в песок.

Комок внутри у Алексея стал чуть меньше. Он впервые заметил: иногда одно короткое предложение может поменять, куда пойдёт чужая сила — в человека или в землю.

С балкона сверху крикнули:

— Лено, домой!

Девочка в розовой куртке поднялась, стряхнула песок с колен.

— Завтра придёшь? — спросила она у него.

Он не был уверен, можно ли обещать «завтра», но в голове уже появились три точки: он — из второго, Лена — из третьего, песочница — между.

— Приду, — сказал он.

Она кивнула, будто проверила его на правду, и побежала к подъезду.

Во дворе снова начали делить палку, ров и места у турника.

С лавочки бабушка позвала:

— Алексей, недолго! Сегодня опять по телевизору говорить будут.

Он постоял ещё немного, запоминая, кто рядом с кем стоит и кто за кем повторяет движение. Потом поднял голову.

Наверху, в окне их кухни, мелькнула бабушкина фигура.

Он поднял руку. Бабушка тоже подняла — коротко, как галочку.

Ему стало чуть спокойнее от мысли, что теперь у него есть не только кухня и телевизор с «танками», но и двор. И люди, у которых внутри тоже дёргается, просто каждый делает с этим своё: кто толкается, кто отворачивается, а кто пытается подгрести песок в нужное место.

Глава 5.

Он не знал, что видит мир как-то особенно.

Ему казалось, что так у всех: всё должно складываться по линиям. Комната — не просто комната, а набор прямоугольников: окно, шкаф, стол, кровать. Двор — круг песочницы, полоска турника, две дорожки к подъездам.

Когда взрослые говорили «поверни направо», внутри у него каждый раз включалось своё «перед этим». Надо было на секунду остановиться, представить, где сейчас дверь, где окно, с какой стороны стена, и только потом выбрать, какое «направо» они имеют в виду.

Пауза была короткой, но он её чувствовал — как щелчок.

— Ну что ты опять тормозишь? Просто направо! — говорили иногда.

Он не спорил. Просто делал свой маленький внутренний круг: «вот дверь, вот окно, вот я», и только потом поворачивал. Ему казалось, что подругому нельзя — иначе легко перепутать. Он думал, что все так делают. Просто у каждого своё «просто».

Вечером, когда телевизор шипел чемто непонятным, а мама проверяла тетради, бабушка иногда доставала с полки тяжёлый альбом.

Обложка была твёрдая, с тёмным, почти стёртым узором. Страницы шуршали поособенному — не как тетради, а как сухие листья.

— Только руками не дёргай, — говорила она. — Тут наши.

«Наши» означало тех, кто был до него.

На одной из страниц была фотография женщины в длинном платье, с гладко убранными волосами. Лицо серьёзное, руки лежат на коленях, а рядом — тёмное пианино, очень похожее на то, что стоит у них в комнате, только на снимке оно будто свежее и выше.

— Это прапрабабушка, — говорила бабушка. — Графиня была. Музыка любила.

Слово «графиня» звучало как из сказки. Он не знал точно, что оно значит. По картинке было понятно только одно: тогда у людей были другие платья и стулья, а пианино — почти такое же.

— То самое? — спрашивал он, кивая на инструмент в углу комнаты.

— Оно, — кивала бабушка. — С тех пор и стоит. Всё пережило: и революцию, и войну, и нас.

Он смотрел то на фотографию, то на пианино.

На снимке клавиши были чуть светлее, у них — потемнели от пальцев. Но форма — та же. Казалось, если провести рукой по крышке, можно дотронуться до того времени.

Он осторожно трогал край страницы, стараясь не задеть уголки.

Теперь, когда он подходил к пианино, он иногда вспоминал эту женщину в длинном платье. Ему казалось, что оно помнит не только их дом, но и её. И от этого старое, тяжёлое пианино становилось не просто мебелью, а чемто вроде длинной нитки, которая тянется от той фотографии до их кухни.

Пианино стояло у стены столько, сколько он себя помнил.

Тёмное, широкое, чуть ободранное по углам. От него пахло старым деревом, лаком и пылью — так пахли не новые вещи, а те, которые жили ещё до него. В детстве ему казалось, что пианино старше не только бабушки, но и самой квартиры.

Сначала это был просто большой запретный предмет.

— Не стучи по клавишам, — говорила мама. — Это не игрушка.

Он проходил мимо и иногда ладонью проводил по боковой стенке — быстро, так, чтобы не успели заметить. Дерево под пальцами было гладким и холодным.

Однажды, когда он уже мог достать до крышки без табуретки, бабушка сказала:

— Если аккуратно — можно открыть. Только не долби.

Он поднял крышку обеими руками. Она оказалась тяжелее, чем думалось.

Под ней лежали ряды белых и чёрных клавиш. Они сразу понравились ему своей правильной формой: всё в линию, всё одинаковое, только цвет разный.

Он нажал одну — осторожно, кончиком пальца.

Звук вышел глубокий и чуть глухой, как будто изнутри. Нажал другую, повыше, — тоньше. Ещё одну. Мелодии не получалось, но сам принцип был понятен: надавил — откликнулось, отпустил — замолчало.

Это успокаивало.

В отличие от людей, пианино не передумывало. Каждый раз при тех же пальцах было то же самое. Белые клавиши были белыми, чёрные — чёрными, они не меняли цвет от настроения.

Через несколько дней мама, глядя, как он снова и снова поднимает крышку, сказала:

— Раз тебе интересно, давай попробуем музыкальную школу. Всё равно скоро в обычную.

Слово «музыкальная» звучало почти как «дополнитель-

ная». Но пианино было здесь, дома, и ряд клавиш казался знакомым. От того, что школа будет про это, становилось немного легче.

Снаружи музыкальная школа выглядела как обычное здание: те же окна, та же дверь. Внутри был другой звук.

Коридор был длинный и узкий. По обе стороны — двери. Из-под каждой двери вылезали кусочки музыки: где-то — тонкая «лестница» из нот, где-то — одно и то же «ля-ля-ля» голосом, где-то кто-то ошибался и начинал сначала. Коридор был как длинная полоска, утыканная этими звуками.

Преподавательницу он услышал раньше, чем увидел.

Когда мама открыла нужную дверь, рядом резко хрустнуло — как будто кто-то откусил сухарь прямо у уха.

За пианино сидела женщина с туго стянутыми волосами. На стуле рядом лежал прозрачный пакет с сухарями.

— Заходите, — сказала она. Голос был почти как хруст: сухой и короткий.

Мама быстро сказала: «Алексей, почти семь, дома пианино», добавила ещё пару фраз, которые он пропустил. Женщина кивнула, будто поставила галочку.

— Встань сюда, — сказала она ему. — Сначала стоим, потом сидим. Покажи правую руку.

Внутри у него щёлкнула привычная схема. Надо было на секунду найти себя: вот дверь, вот окно, вот он.

Рука поднялась не та.

— Это левая, — спокойно сказала она. — Ничего. Ещё раз.

Во второй раз он сделал, как уже однажды придумал: от себя. Представил, где левая, где правая, словно держит воображаемую гитару, и поднял другую руку.

— Так. Садись.

Клавиши были как дома, только гладче, звук ярче.

Она раздвинула ему пальцы, поставила каждый на своё место.

— Сейчас покажу простое упражнение, — сказала она. — Смотри.

Она сыграла несколько нот подряд, медленно. Этого хватило: у него в голове звуки сразу выстроились в дорожку. Он уже слышал следующий звук, ещё до того, как она его нажимала.

— Теперь ты. Медленно. Считай до четырёх.

Он начал.

Внутри мелодия уже бежала вперёд: первая нота, вторая, третья, четвёртая. Пальцы отставали. Один зацепил соседнюю клавишу.

Сбоку громко хрустнул сухарь.

— Не торопись, — сказала она и легко стукнула его по пальцу костяшкой. — Руки должны успевать за головой. Ещё раз.

Он попытался сделать наоборот: удерживать в голове только ближайшую ноту, пока не прозвучит. Как будто тя-

нуть поводок у собственной мысли. Пальцы двигались осторожнее, чем хотелось.

Через несколько тактов он всё равно промахнулся — теперь уже опоздал.

Ещё один хруст. Ещё один лёгкий удар по пальцу.

Внутри упражнение звучало ровно и целиком. Снаружи всё время где-то сдвигалось. Между тем, что он «уже знает», и тем, что удалось сыграть, оставалась щель. Это ощущение он запомнил лучше самих нот.

В конце занятия учительница вытащила из пакета новый сухарь, на этот раз не откусывая.

— Голова у него бежит, — сказала она маме. — Руки подтянутся. Главное — чтобы слушал меня, а не себя.

Он услышал и «голова бежит», и «не себя», просто пока не знал, куда это положить. Слова легли отдельно, как камешки, которые ещё не вошли в рисунок.

Книжка про устройство мира пришла раньше обычной школы.

Мама принесла тонкую книгу с картинками зверей и радуги.

— Это Библия для детей, — сказала она. — Здесь написано, как всё начиналось. И как люди раньше это себе представляли.

Сначала ему всё показалось очень ровным.

Сначала темно, потом свет. Потом вода, суша, растения,

звери, люди. Каждый шаг отдельно, как дни по расписанию: вот первый день, вот второй. Он воспринимал это как план: пункт за пунктом. Это напоминало его собственные схемы: комната — шкаф, окно, стол; тут — «свет, вода, земля».

Чем дальше, тем меньше всё сходилось.

Бог любил людей, но иногда заливал всё водой. Одних спасал, других — нет. Одному отдавал землю, другого выгонял. Это было похоже на взрослого, который сегодня хвалит, завтра за похожее ругает и говорит, что это «для твоего же блага».

— А почему он их так сильно наказывает, если любит? — спросил он.

— Так написано, — ответила мама. — Люди делают плохое, вот и получают. Но он всё равно их любит.

Она говорила знакомыми словами, от которых другим, наверное, становилось понятнее. Ему — нет. Внутри это было как линия, которая идёт прямо, а потом вдруг ломается без объяснения.

— А он может ошибиться? — спросил он после паузы.

— Бог — нет, — сказала мама. — По книжке — точно.

Он промолчал. Внутри это снова не сложилось.

Он дочитал книжку до конца, потому что не любил бросать. Истории были яркие, но общей схемы у него не вышло. Пока он просто принял: «так рассказывают взрослые». И глубоко отметил другое: то, что написано в книжке, не до конца похоже на то, как всё выглядит в жизни.

Глава 6.

Школа появилась в его жизни раньше, чем он сам в неё вошёл.

Она уже жила дома: в маминых тетрадях с красными пометками, в запахе мела от её кофты, в Стасиных рассказах про звонки, перемены и учительницу, которая «видит всё». На кухне всё чаще говорили: «форма», «тетради», «первое сентября», «в какой класс». Для него школа была чемто вроде станции, название которой уже давно слышно в вагоне, хотя сам поезд ещё не остановился.

Стасик про школу рассказывал поразному.

Иногда — важно, как будто уже знает что-то большое: где лучше сидеть, кому не отвечать, как прятать дневник, если там замечание. Иногда — зло, если задавали много. Алексей слушал и складывал из этих рассказов своё представление: школа — это много людей, звонок, коридоры, тетради в клетку и вещи, которые надо делать вовремя, даже если не хочешь.

Потом начались сборы.

Мама повела его на рынок в жаркий день, когда асфальт был мягким на вид, а воздух стоял густой, с запахом пыли, рыбы, мокрой капусты и дешёвых духов. Она держала его за запястье, а в другой руке был список: рубашки, брюки, сменка, тетради, обложки, пенал.

На рынке всё висело и лежало слишком близко друг к другу.

Между рядами были узкие проходы, где люди тёрлись пакетами и локтями. Белые рубашки висели стеной. Ранцы стояли на верхних полках, свисали лямками, как пустые спины.

— Это на вырост, — говорила мама, прижимая к нему одни брюки. — Эти не надо, дорогие. — Нам ещё тетради брать. — И Стасу сменку смотреть.

Она говорила не жалуясь, а считая. Так же, как считала картошку, дни до зарплаты или страницы в чужих тетрадях.

Ему дали выбрать портфель.

Один был яркий, с машиной и красной молнией. Другой — тёмносиний, простой, почти без ничего. Он потрогал сначала первый: ткань была жёсткая, блестящая. Потом второй: мягче, тише на вид.

— Какой? — спросила мама.

Он ещё раз посмотрел на оба.

Яркий был как будто уже не совсем его — слишком заметный, слишком требующий, чтобы на него смотрели. Синий казался спокойнее.

— Этот, — сказал он и взял простой.

Мама только кивнула.

Ему стало легче, как будто он вовремя убрал руку от вещи, которая потом всё равно оказалась бы лишней.

Тетради пахли бумагой и клеем. Обложки липли к пальцам. Пенал щёлкал железной застёжкой. Всё это складывали в пакет, и школьная жизнь понемногу становилась не словом, а вещами, которые можно уронить, понести, разложить

на столе.

За несколько дней до первого сентября в дом пришли гости.

Среди разговоров, чая и тарелок мужчина в светлой рубашке поставил на стол чёрную коробку.

— Смотри, чудо, — сказал он. — Нажал — и сразу фотография.

Слово «сразу» понравилось ему почти так же, как «фотография». Обычно фото где-то делали потом. Здесь всё происходило на глазах.

Сначала снимал гость.

Маму, бабушку, Стаса и Вику усадили на диван. Мама улыбнулась так, как улыбается соседям на лестнице, бабушка села ровнее, Стас состроил лицо повеселее. Вику посадили к маме на колени — она просто смотрела вперёд и теребила край маминого рукава.

— Улыбаемся! — сказал гость.

Щёлкнуло. Из камеры вылез белый прямоугольник. Его положили на стол, и на глазах на нём начали проступать лица.

Первый снимок получился красивый. Мама — мягкая, бабушка — спокойная, Стас — почти довольный. Даже Вика будто смотрела как надо. Всем понравилось.

— Ну вот, открытка, — сказала мама.

Потом камеру дали ему.

Она была тяжёлая и тёплая от чужих рук. Он приложил

её к лицу и увидел в маленьком окошке тот же диван, только уже без готовности.

Никто больше понастоящему не позировал. Мама поправляла свитер. Бабушка смотрела внимательно и чуть устало. Стас кривил рот, будто ему всё это надоело. Вика тянулась к маминой цепочке и не думала ни про какую фотографию.

Он не загадывал ничего заранее. Просто в какойто момент нажал.

Щёлкнуло. Белая карточка вылезла и легла рядом с первой.

Когда изображение стало проявляться, оказалось, что лица на втором снимке совсем другие.

У мамы рот был чуть сжат, как перед словами «ну давайте уже». У бабушки брови сошлись строже обычного. Стас смотрел в сторону с недовольным лицом. И только Вика вышла почти такой же, как была секунду назад: серьёзной, занятой своим делом, не старающейся понравиться.

— Ой, — сказала мама. — Я тут как будто ругаюсь.

— И я недовольная, — сказала бабушка.

— Я вообще злой, — буркнул Стас. — Можно ещё раз?

— Нельзя, — сказал гость. — Что снялось, то снялось.

— Вика хоть нормальная, — добавила бабушка, присматриваясь. — Но ей всё равно, она маленькая.

Алексей молчал.

Он не хотел, чтобы получилось хуже. Просто так вышло.

Бабушка всё равно достала альбом, осторожно вклеила

второй снимок на свободную страницу и под ним написала: «Фотографировал Лёша».

Он прочитал и тихо порадовался.

Значит, дело было не только в том, что все «плохо вышли». Значит, это был именно его снимок.

Фото лежало на столе, как маленький кусочек времени, который теперь всегда будет таким. Он подумал, что это немного похоже на волшебную вещь из будущего: картинка сразу есть, а вот стереть и переделать её никак нельзя.

Через несколько дней мама повела его в школу записываться.

До первого сентября оставалась всего неделя. В коридорах пахло краской, пылью и мокрой тряпкой. Где-то мыли полы, где-то двигали парты. Двери кабинетов были открыты, и школа выглядела так, будто сама готовится стать серьёзной.

Он бывал здесь и раньше — к маме на работу. Но теперь всё было иначе.

Теперь он сидел на стуле у стены среди других детей, которые тоже ждали. Рядом шуршали документы, матери поправляли воротники, кто-то повторял с ребёнком стихотворение шёпотом.

Мама была спокойна.

Она здоровалась с учителями по имениотчеству, коротко спрашивала про расписание, про набор, про то, кто берёт первый класс. Здесь она была не чужой. От этого ему было чуть легче, хотя внутри всё равно держался маленький тугой

узел.

Стасик перед выходом сказал:

— Там, может, стих попросят. Ты только не молчи.

Сказал вроде постаршему, но с обычной своей важностью. Алексей запомнил.

Когда их позвали, они вошли в кабинет.

За столом сидела женщина с короткой стрижкой и папками. Она посмотрела сначала на маму, потом на него. Они с мамой обменялись несколькими взрослыми фразами — быстро, как люди, которые понимают половину слов без объяснений.

— Ну что, — сказала женщина наконец, — это и есть наш будущий первоклассник?

Мама положила документы на край стола.

— Да. Алексей.— В музыкальную уже ходит?— Да, первый год.— Читает понемногу?— По чутьчуть. Буквы знает, складывает.

Он стоял рядом и слушал, как говорят о нём, не спрашивая его самого. Это было не обидно — просто странно, как будто он одновременно здесь и чуть в стороне.

Потом женщина посмотрела прямо на него.

— Алексей, знаешь какойнибудь стишок? Расскажи.

Он кивнул.

Стих у него был — тот, который мама когда-то повторяла со Стасом, а он запомнил сам. Не потому что учил, а потому что слова однажды легли в голову и остались.

— Только громко и выразительно, — сказала женщина.
Он встал и начал читать.

Первую строку сказал громко — так, чтобы точно было слышно за дверью. Вторую — ещё чуть сильнее, стараясь, чтобы каждое слово было «с выражением». На третьей строке женщина подняла ладонь.

— Стоп, — сказала она, чуть поморщившись. — Не надо так. Мы же в школе, а не на стадионе.

В уголке губ у неё мелькнула улыбка — не злая, но такая, как бывает, когда ребёнок делает всё слишком всерьёз.

Мама тоже улыбнулась, коротко и чуть виновато.

— Вы сказали громко, — тихо объяснила она. — Он так и понял.

— Понимаю, — кивнула женщина, уже мягче. — Ничего. Будем учить, что «громко» — это не обязательно «во весь коридор».

Она что-то записала в бумаги, не показывая, что именно.
Алексей сел обратно.

Он чувствовал, как тепло от громкого чтения постепенно уходит из груди, а вместо него остаётся странное ощущение: сделал ровно, как попросили, и всё равно «слишком».

Мама расписалась там, где ей показали. Его ни о чём не просили — только стоять рядом и иногда отвечать глазами.

Когда они вышли из школы, солнце уже сильно било в асфальт.

Возле крыльца стоял мотоцикл — чёрный, блестящий, с

широким сиденьем. На нём сидел старшекласник в расстёгнутой куртке.

— Марина Сергеевна! — крикнул он маме. — Ну что, пополнение?

Они перекинулись парой слов. Потом парень посмотрел на Алексея.

— Хочешь, вокруг школы прокачу? Один кружок.

Он кивнул раньше, чем успел подумать.

Его посадили сзади и велели держаться крепче. Мотоцикл вздрогнул, под ним загудело, и всё сразу поехало быстрее, чем он привык.

Воздух ударил в лицо. Школа, деревья, забор, дорожка — всё понеслось мимо слишком быстро. Он не успевал складывать это в схему. Ничего нельзя было остановить, поправить, разложить по местам.

Он сильнее вцепился в куртку старшекласника и впервые ясно подумал: а если мы сейчас упадём? Если врежемся? Если колесо поедет не туда?

Страшно было не потому, что что-то уже случилось. А потому, что всё происходило слишком быстро и решал не он.

Круг закончился почти сразу.

Мотоцикл остановился у тех же ступенек. Земля снова стала неподвижной.

— Ну как? — спросил старшекласник.

— Нормально, — сказал он.

Но колени под штанами слегка дрожали.

По дороге домой он шёл рядом с мамой и думал о том, что одно и то же место можно пройти пешком, медленно, по линиям. А можно пролететь вокруг него так быстро, что ничего не успеешь понять.

Школа была уже совсем близко. И от этого внутри становилось не только тревожно, но и странно интересно.

Регистр:Объект N01: этап дошкольной подготовки завершён.Среда: домашний контур → расширен до школьного периметра.Наблюдения: повышенная чувствительность к скорости изменений, буквальная обработка инструкций, фиксация несостыковок между заявленным и наблюдаемым.Решение: перевести объект N01 к следующей фазе интеграции — начальная школа.

Часть 2

Глава 7.

(Здесь почти всё у тебя уже отлично, я только чуть подчёркиваю его «смотрение» на людей, чтобы позже «рентген» звучал точнее.)

Утром первого сентября он шёл в школу не один.

Мама — посередине, в одной руке букет гладиолусов, в другой — его ладонь. С другой стороны Стасик подпрыгивал на каждом стыке плитки, будто проверяя, все ли на месте.

— Не отставай, — сказала мама. — Сегодня тебя доведём, завтра дорогу сам будешь знать.

Дорогу он уже знал по линиям: три поворота, один двор, два перехода, длинный забор с облупившейся краской. Но

когда рядом шли мама и брат, привычная схема казалась за-
вершённой — как рисунок, на котором наконец появились
подписи.

Во дворе школы было тесно и шумно.

Дети в белых рубашках и с бантами, взрослые с букета-
ми, учителя в светлых блузках. Громкоговоритель хрипел, из
него то обрывалась речь, то вылезала музыка. Над головами
болтались шарики. Всё двигалось сразу, и он чувствовал се-
бя внутри большого роя.

Стас махнул кому-то из своих и тут же исчез в своей стае.
Мама подтолкнула его ближе к центру, туда, где собирали
первоклассников.

— Встань здесь, — сказала она. — Я буду вон там, у за-
бора. Видишь?

Он кивнул. Мама уже была частью другого круга — взрос-
лого.

Музыка вдруг стала громче, знакомая мелодия прорезала
общий шум. Та самая, которую он слышал по телевизору и в
детском саду. Голос сверху бодро пел про то, как учат писать
буквы и считать, не путать острова с городами, не обижать
малышей, дружить крепконакрепко и любить добрые книж-
ки.

Слова звучали как список обещаний.

Если здесь «учат малышей не обижать», значит, в шко-
ле так и будут делать. Если учат «крепко дружить» и «друж-
бой дорожить», значит, не должны бросать просто так. Пес-

ня была не просто весёлой — она казалась договором, который школа заключает со всеми сразу.

Он решил, что это правда. И что раз уже так поют, другому быть не может.

После линейки взрослых немного отогнали в стороны.

К каждому первокласснику подошёл старший — высокий мальчик или девочка в белой рубашке и с галстуком. Им говорили: «Возьми за руку и отведи в класс». Так стаю делили пополам: сверху и снизу.

К нему подошёл старшеклассник, которого он уже знал.

Тот самый, что недавно возил его вокруг школы на мотоцикле. Без куртки и железа под ним он выглядел почти другому — просто старшим, аккуратным. Но голос был тот же.

— Ну что, гонщик, — тихо сказал он, чтобы слышал только он. — Пошли знакомиться со своим первым «Б».

Он вложил ладонь в его руку.

В прошлый раз этот человек вёз его вокруг школы так быстро, что ничего не успевало сложиться в картинку. Теперь тот же человек должен был провести его медленно, по ступенькам, в новый мир. Это казалось правильным началом.

Коридор был прохладным и менее шумным, чем двор.

Шаги гулко отдавались по плитке, пахло краской и мокрой тряпкой. Слева тянулись двери в классы, справа — окна во двор. Он шёл рядом со старшеклассником и по привычке

считал: сколько дверей до поворота, сколько шагов от входа до их таблички. Первый этаж уже складывался в простую схему, где у него тоже должно быть своё место.

У двери с надписью «1 „Б“» старший остановился.

— Вот твой класс. Запоминай, — сказал он. — Если что — спросишь дежурного.

Дверь была приоткрыта, изнутри шёл шорох стульев и детские голоса. Старшекласник отпустил его руку. Дальше он должен был войти сам.

Класс встретил его светом и ровными рядами.

Парты стояли в три ряда, доска — зелёный прямоугольник напротив двери. У окна — цветок в горшке, под окном батарея. Учительский стол чуть сбоку. Он быстро прикинул: у первой парты слишком близко к доске, у последней — далеко и видно не всё. Середина казалась правильной — видно и доску, и дверь, и кусок окна.

Он сейчас же занял место в середине ряда.

Стул скрипнул, когда он его резко отодвинул и так же резко подвинул обратно. Портфель стукнулся о ножку парты. Он уцепился руками за край — как за поручень — и почувствовал, как постепенно успокаивается дыхание.

Дети рассаживались, родители отходили к стенам.

Учительница представилась, улыбнулась классу, сказала несколько привычных фраз про «наш дружный первый „Б“». Он вставал и садился вместе со всеми, но каждый раз чуть раньше или позже, чем остальные — тело ещё привыкало к

новому общему ритму.

Рядом с шумом опустился стул.

Мальчик, который сел справа, задел его ногой, портфель плюхнулся на пол, крышка откинулась. Он быстро закинул его обратно, достал ручку, открыл тетрадь и сразу начал чертить в уголке какие-то квадраты и стрелки.

— Тут нормально, — сказал он, глянув на Лёху. — Не у стены и не под носом у доски.

— А у стены что? — спросил Лёха чуть поспешно.

— У стены прячутся, — коротко ответил мальчик. — А тут всё видно.

Имени он ещё не услышал, но уже понял: этот сосед тоже видит класс как схему, только сразу рисует её на бумаге.

Именно в этот момент он заметил её.

На третьей парте у окна сидела девочка со светлой косой и белым бантом. Сначала он увидел не косу, а глаза — большие, светлые, чуть внимательнее, чем у остальных.

Он смотрел на секунду дольше, чем обычно смотрят на одноклассников.

Обычно в такие моменты отворачиваются или начинают корчить рожицы. Она просто посмотрела в ответ — спокойно, чуть прищурившись, будто проверяя, кто это такой. Уголки губ едва двинулись, как короткое «угу» без слов.

Он дёрнул взгляд вниз, ручка сильно черкнула по чистому листу.

В груди стало теснее, но не неприятно — скорее непри-

вычно. Он ещё не знал, как её зовут, но отметил про себя: у окна сидит девочка с такими глазами, при встрече с которыми внутри на секунду становится тихо, даже если вокруг всё так же шумно.

К обеду первый «Б» перестал быть просто шумной комнатой.

В схеме «ряды парт — доска — окно — дверь» появилось две особые точки. Мальчик рядом, который рисовал стрелки и видел нелепости так же, как он. И девочка у окна с большими светлыми глазами, которая спокойно выдержала его взгляд.

Школа уже не была безликой станцией из песенки.

Песня обещала учить не обижать и дружить крепко. Он принял это всерьёз и решил, что здесь так и будет. А в этой стае у него неожиданно появились свои — один по мысли, другая по глазам.

Глава 8.

Про Свету к тому моменту он знал немного, но этого хватало.

Что она любит сидеть у окна. Что на перемене не бежит первой в коридор, а чуть задерживается, складывая тетради ровной стопкой. Что если кто-то громко шутит, она сначала смотрит на того, кто сказал, а потом — на тех, кто смеётся.

Ему нравилось за этим наблюдать.

Он вообще много смотрел на людей. Не по одной детали, а сразу целиком: лицо, руки, как сидят плечи, как меняет-

ся шея, когда человек смеётся или злится. Иногда он успевал заметить, как за одну секунду лицо проходит три состояния: сначала человек хочет что-то сказать, потом передумывает, потом делает вид, что ничего не было. Эти переходы его интересовали больше самих слов. Иногда ему говорили: «Не смотри так», — и дёргали плечом, будто отмахиваясь от невидимой руки. Он не понимал, что именно в его взгляде «так».

Света этого не говорила.

Иногда, заметив его взгляд, просто спрашивала:

— Что?

— Ничего, — отвечал он. Это было правдой. Он ничего не пытался этим сказать. Просто проверял, какое у неё сейчас лицо.

О том, что у неё скоро день рождения, он узнал на уроке.

— Ребята, у Светы в пятницу день рождения, — сказала учительница. — Можете нарисовать открытки или принести маленькие подарки. Главное — от души, а не дорого.

Слово «пятница» зацепилось. У него было несколько дней.

По дороге домой он перебирал варианты. Шоколадку могут принести многие, если дома дадут деньги. Открытку из киоска купить ещё проще. А денег дома немного: недавно мама говорила бабушке, что «к школе всё дорого» и «зарплату опять задержали».

Просить отдельно «на подарок» не хотелось.

Дома он открыл ящик под столом, где лежали пустые коробки. Там было всё сразу: упаковка из-под печенья, обувные коробки, куски картона.

На кухне мама разговаривала с бабушкой.

— В магазине масло опять подорожало, — говорила мама. — И сахар. До зарплаты ещё неделя. — Переживём, — отрезала бабушка. — Главное, чтоб дети не голодали. Игрушки сами себе найдут.

Он слушал крайним ухом. Слово «игрушки» почему-то запомнилось.

Ему нравилось, что из таких вещей можно собирать новые.

Замок придумался сам, из того, что было под рукой.

Он разрезал большую коробку из-под печенья, развернул её и посмотрел на плоскость. Если из этого сделать стены, а из обрезков — башни, получится крепость. Не как в книжке, но своя.

Мама заглянула на кухню, увидела картон на столе.

— Только не устраивай тут свалку, — вздохнула она. — Если режешь, режь аккуратно.

— Я аккуратно, — сказал он.

Ножницы всё равно иногда уходили в сторону. Башни получались разной высоты, стены — неровными. Он подклеивал углы скотчем, прижимал пальцами, ждал, пока схватится. Когда четыре стены замкнулись, внутри образовалась пустота. Ему понравилось, что у вещи появился свой внутрен-

ний объём.

Он сделал ворота: вырезал прямоугольник в передней стенке, оставив снизу полоску, чтобы створка держалась, изнутри приклеил бумажную полоску — что-то вроде петли. Ворота открывались нехотя, но открывались.

Оставался вопрос: что положить внутрь.

Просто замок казался недоделанным. Хотелось, чтобы внутри было что-то, ради чего всё и затевалось.

У киоска возле остановки, где продавали булочки, жвачку и мелочи, у кассы стояла пластиковая коробочка с колечками. Тонкие, пластмассовые, с прозрачными «камешками». Бабушка давала ему на булочку чуть больше, чем она стоила. На один раз можно было выбрать не булочку.

Он остановился, прикинул в уме суммы, выбрал одно кольцо — простое, с небольшим прозрачным «камнем», который ловил свет, если его поворачивать.

— Девочке берёшь? — спросила продавщица.

— У одноклассницы день рождения, — ответил он. Без подробностей.

Кольцо в ладони было лёгким и отдельным. Само по себе — как блестяшка из киоска. Просто принести его в пакете казалось слишком быстро: достал — и всё. Хотелось, чтобы подарок жил чуть дольше.

Он положил кольцо внутрь замка, в центр, на кусочек старого платка, который бабушка когда то порезала «на тряпки».

Если открыть ворота, кольцо было видно сразу. Если нет — замок оставался просто картонной крепостью.

Сестра сразу заметила замок.

— Это кому? — спросила она, уже тянувшись руками.

— Однокласснице, — сказал он. — Только ворота не трогай.

— Там что-то есть? — глаза у неё загорелись.

— Есть, — честно подтвердил он. — Но не для тебя.

Она немного обиделась, но всё равно обошла замок кругом, потрогала башни, проверила, не отвалятся ли. Он запомнил места, где она нажимала сильнее, и там подклеил ещё раз.

Пятница началась как обычно.

Уроки шли один за другим. На перемене перед поздравлениями одноклассники обсуждали подарки:

— Я конфеты принесла. — А у меня наклейки. — А у меня блокнот, с машинками.

Его пакет с замком был больше других. Он всё время перекладывал его из руки в руку, проверяя, не прорвалась ли ручка.

После звонка Нина Васильевна сказала:

— Сейчас поздравим Свету и пойдём на следующий урок. Только без лишних криков.

Тише не стало.

Подарки начали отдавать с первых парт. Открытки, шоколадки, маленькая игрушка. Света благодарила коротко,

немного смущённо.

Он собирался подойти, когда шум чуть уляжется.

Шум не укладывался.

— Лёх, а ты что прячешь? — крикнул кто-то сбоку. — У тебя там дом целый!

Несколько голов повернулись к нему. Отступить уже казалось странным.

Он подошёл к Светиной парте, поставил замок.

— Это тебе, — сказал он.

Сказал ровно, но короче, чем обычно.

— Ого, замок! — сразу воскликнул кто-то. — Принцесса Света!

— Во, кольцо! — добавил знакомый голос с задней парты.

— Всё, жених объявился.

— Целуйся! — выкрикнул кто-то ещё просто потому, что в таких местах обычно так кричат.

Слово «принцесса» прокатилось по классу, кто-то засмеялся, кто-то повторил. Слово «жених» зацепилось громче других.

Света смотрела на картон.

Он видел, как её взгляд скользит по башням, по воротам, по неровным краям. Она аккуратно поддела пальцем створку. Ворота чуть заедали, но всё-таки откинулись.

Внутри блеснуло кольцо.

Смех стал громче, как будто кто-то добавил ещё один слой шума.

Света покраснела. На секунду подняла глаза на него — короткий, негромкий взгляд. В нём было и неудобство, и спасибо, и страх сделать что-то «не так» при всех.

Она взяла кольцо двумя пальцами, как будто боялась уронить, и быстро надела на палец. Не показывая, не играя. Скорее, чтобы оно не лежало на виду.

— Спасибо, — сказала она. — Очень... необычно.

Слово повисло между ними. Ктото тут же передразнил:

— Необычно! — и класс снова захихикал, уже больше по инерции.

Он заметил, что опять смотрит прямо на неё. Так, как всегда: чуть дольше, чем остальные, сразу на всё лицо, пытаюсь разглядеть, что именно поменялось, когда кольцо оказалось у неё на руке.

— Не смотри так, — сказала другая девочка. — Страшно.

— Как? — спросил он. Вопрос был не из упрямства, а от непонимания.

— Как будто насквозь, — отмахнулась она. — Как рентген.

Ктото сделал вид, что закрывается руками от лучей. Ктото фыркнул. Для них это была ещё одна шутка.

Он перевёл взгляд вниз, на картон.

Замок стоял с открытыми воротами. Внутри было пусто. Башни — разной высоты, края — неровные. Теперь это бросалось в глаза сильнее, чем дома. Мысль, что именно не так, была где-то рядом, но словами не ловилась.

По дороге домой он несколько раз прокрутил в голове этот день.

Не то, как кричали «жених», а три момента: как её пальцы тронули картонную дверцу, как внутри блеснуло кольцо, как портфель чуть выдал выпуклостью то место, где лежал замок. Голоса одноклассников в этой перемотке звучали просто общим шумом.

Через пару недель у входа он заметил на стенде листок: «Кружок оригами. Бумажные модели. Точность линий».

Он стал иногда оставаться после уроков. Складывал бумагу по сгибу, проводил ногтем, добивался резкого, чистого залома, подгонял угол к углу. Когда фигура получалась ровной, внутри становилось чуть спокойнее — как будто хоть в одном месте всё наконец сходилось так, как надо.

Глава 9.

Эта мысль сидела в голове несколько дней и никак не уходила.

Сначала она появилась вечером, когда бабушка читала вслух про пиратов и сундук с золотом. В книжке всё было понятно: есть карта, есть крестик, есть люди, которые идут по стрелкам и в конце обязательно что-то находят. В какой-то момент ему стало интереснее не то, как пираты делят золото, а как бы его одноклассники делили добычу, если бы оказались на месте пиратов.

Он слушал дальше, но уже представлял не чужой остров, а школьный двор, рошу за спортплощадкой, их класс, высы-

павший на улицу после уроков. В книжке у каждого пирата была своя роль: жадный, трусливый, честный до глупости. В его голове вместо них становились Боря, отличник, хулиган, Света и ещё несколько знакомых лиц. Он не знал ещё, кто окажется кем на самом деле, и именно это было интереснее всего.

Сначала мысль казалась слишком книжной, как будто чужой. Но за пару дней она перестала быть просто картинкой из истории на ночь и потихоньку превратилась в план. План был простой: карта, место, люди.

Карту он рисовал вечером за кухонным столом, когда бабушка уже ушла спать, а мама мыла посуду. Взял лист в клеточку из старой тетради, карандаш, потом ручку. На листе появились знакомые вещи, только без названий: длинный прямоугольник школы, маленький квадрат двора, чёрточка забора, круг — это рощица за спортплощадкой. Дальше он провёл кривую линию тропинки, нарисовал пару условных деревьев и крестик там, где собирался закопать коробку.

Он специально ничего не подписывал словами. Было важно, чтобы карта выглядела как настоящая: немного непонятная, с лишними штрихами и странными поворотами. Если смотреть недолго — просто бумажка. Если чуть дольше — уже почти обещание.

Потом он чуть состарил лист над чайником. Держал бумагу обеими руками, терпел горячий пар, пока она не становилась мягче. Края осторожно обжёг над конфоркой, следя,

чтобы огонь не пошёл дальше нужного. Получилось не так красиво, как в книжке, но достаточно неровно, чтобы захотелось подумать, что ей много лет.

Коробку он нашёл у бабушки в комодe — жестяную, изпод карамелек, давно пустую. Хлам для клада собирал по квартире не за один раз, а по чутьчуть: старый ключ неизвестно от чего, фасолину, блестящую пуговицу, монетку, сломанную игрушечную машинку без одного колеса. Вещи были самые обычные, но по отдельности каждая могла показаться важной, если достать её из земли в нужный момент.

Про записку он подумал в самый конец. Сначала просто сложил небольшой прямоугольник бумаги и подержал его в руках, прикидывая, что должно быть написано внутри. Потом всё-таки вывел печатными, неровными буквами несколько слов и положил листок в коробку сверху. Что именно он написал, знали пока только он и сложенный вчетверо бумажный прямоугольник.

Клад он закопал в выходной, когда во дворе было шумно, а в школьной роще — пусто. Взял с балкона маленькую лопатку, ту, которой летом ковыряли землю на грядке, и пошёл «гулять». Роща начиналась сразу за сеткой спортплощадки: несколько деревьев, немного земли, вытопанной ногами, мусор. Он выбрал место между двумя корнями, где земля была мягче, выкопал яму размером с коробку, аккуратно опустил её внутрь и засыпал обратно. Сверху разровнял и бросил пару старых листьев.

Он ещё раз мысленно прошёл маршрут по своей карте: от школьной двери, вдоль стены, мимо спортзала, через калитку, по тропинке — до того самого места. Всё сходилось. Возвращаясь домой, он чувствовал себя так, как после решённой задачи: всё основное уже сделано, дальше оставалось только посмотреть, что получится, если подставить в эту задачу других людей.

На большой перемене он дождался, когда в классе станет шумно и пусто одновременно: часть уже выскочила в коридор, часть копалась в портфелях так, что никто ни за кем не следил.

Он прошёл между партами к проходу, по дороге на секунду задержался у одной — у Бори. Тетрадь на парте была открыта, обложка загнута. Его рука чутьчуть согнулась, будто поправляя ремень на плече, и сложенный листок тихо лёг между страницами. Обложка закрылась сама, когда он чуть подтолкнул её локтем. Снаружи осталось торчать только обожжённое ушко карты.

Никто на него в этот момент не смотрел. И это было не планом, а привычкой: он вообще не любил, когда видят, что делает что-то важное.

Через пару минут в класс вернулся Боря. Он схватил тетрадь на лету, одновременно отвечая комуто из коридора, и карта просто выпала на парту, как будто сама решила показаться.

— Смотрите, — сказал он. — Тут что-то...

К нему сразу потянулись ещё две головы, потом третья. Кто-то позвал хулигана. Через полминуты карта уже лежала на Бориной парте, ещё через минуту вокруг неё стояли почти все, кто не успел убежать в буфет.

Алексей остался у своей парты.

Он не знал, кто из них первым скажет «клад», кто предложит «пойти», кто засмеётся, а кто испугается. Именно это его и интересовало. Карта была всего лишь поводом. В книжке роли были заранее прописаны, здесь они только собирались проявиться.

— Смотрите, тут крестик, — сказал один из младших.

— Да это кто-то рисовал, — скептически заметил отличник, но наклонился ближе.

— Само собой рисовал, — хмыкнул хулиган. — Карты сами не родятся.

Карта была нарисована достаточно похоже, чтобы каждый смог узнать что-то своё. Кто-то понял, где школа. Кто-то — рощу. Кто-то сразу ткнул пальцем в крест.

— Тут что-то закопано.

— А вдруг правда клад? — сказал Боря. — Пойдём и проверим.

Это «пойдём» прозвучало так, как будто решение уже принято. Нина Васильевна в это время что-то писала в журнале и до них было далеко.

— После уроков, — добавил кто-то. — В роще.

— Не пойдёте, — сказал хулиган через ряд. — Струсите.

От этого слова многие тут же захотели пойти, даже те, кто секунду назад колебался.

Света подошла последней. Она не протянула руку к бумаге, только посмотрела на неё сверху вниз. Глаза задержались на крестике, потом на обожжённом краю, потом — на Алексее. Он встретил её взгляд и отвёл глаза, как будто ему действительно было всё равно.

К звонку карта уже перестала быть просто бумагой. На последнем уроке она лежала у Бори в тетради, и весь класс как будто сидел не до звонка, а до роши.

После уроков у центрального выхода из школы оказалось неожиданно много народу. Не весь класс, но близко к тому: человек десять–пятнадцать, если считать тех, кто уже стоял на улице, и тех, кто ещё допрыгивал по ступенькам на одной ноге, надевая ботинок.

Боря держал карту поверх тетради, как знамя. Ветер чуть шевелил обожжённые края.

— Ну что, идём? — сказал он громче, чем надо было.

— Я домой, — тихо сказал отличник. — Мне нельзя задерживаться.

— Трус, — бросил хулиган автоматически.

Отличник чуть дёрнулся, но всё же пошёл к воротам, где уже ждали взрослые. Алексей отметил про себя этот маленький разрыв между «правильно» и «хочется», но не стал смотреть ему вслед.

Остальные двинулись к калитке, ведущей к спортплощад-

ке и дальше — к роще. Боря шёл первым, карта была у него в руках. Хулиган держался рядом, ещё пара человек прижимались к ним сбоку. Младшие тянулись цепочкой. Кто-то всё время заглядывал Боре через плечо.

Алексей выбрал место в хвосте, чтобы видеть всех сразу.

Роща за школой днём казалась меньше, чем вечером. Деревья были редкими, земля местами вытоптана до голой коричневой полосы. Они шли по тропинке, но время от времени кто-то вырывался вперёд или, наоборот, отставал.

— Тут поворачивать, — уверенно сказал Боря в одном месте, глянув на карту.

— Почему? — спросил кто-то.

— Потому что так, — ответил Боря. Этого объяснения хватило.

Все повернули.

Боря всё время что-то говорил — про сокровища, пиратов, милицию, которая обязательно придёт, если они найдут «настоящую» коробку с золотом. Хулиган пару раз пытался шутить грубее, но его почти не слушали. Младшие спотыкались о корни и хватались друг за друга.

Алексей шёл и смотрел, кто держится ближе к Боре, кто — к хулигану, кто идёт отдельно, сам по себе, но всё равно не уходит. Ему было важно не пропустить моменты, когда люди меняют расстояние между собой: подойти, отойти, встать за чьейто спиной.

Когда Боря сказал «Стоп», все остановились почти одно-

временно.

— Тут? — спросил кто-то.

— Тут, — подтвердил Боря, сравнив глазами крестик на карте и дерево сбоку.

Земля и правда была обычной — немного рыхлой, пара сухих листьев, небольшой корень. Лопаты ни у кого не было, копали руками и палками. Сначала это было похоже на игру: землю отбрасывали далеко, кто-то смеялся, кто-то командовал. Потом стало труднее, пальцы пачкались, ломались ногти, и у некоторых энтузиазм начал таять.

— Там ничего нет, — сказал один из младших, выпрямляясь.

— Копай, — коротко бросил хулиган.

Через пару минут пальцы кого-то из ребят стукнулись обо что-то твёрдое.

— Есть! — крикнул Боря так, что с дерева вспорхнула птица.

Из ямы осторожно вытащили грязную жестяную коробку. Её поставили на землю, вокруг сразу образовался плотный круг. Боря оказался в центре просто потому, что держал карту.

Крышка поддалась не сразу. Когда её наконец открыли, внутри оказалось немного ржавого хлама и сложенный вчетверо листок в клеточку. Хлам разочаровал быстрее всего: ключ, пуговица, монетка, обломок игрушечной машинки. Это можно было найти и дома под диваном.

— И это всё? — сказал кто-то, в голосе уже звучала обида.

— Там записка, — тихо сказала Света.

Боря достал сложенный прямоугольник и развернул его аккуратнее, чем коробку. Внутри печатными, кривоватыми буквами было написано:

«КЛАД — ВНУТРИ».

Он прочитал вслух:

— Клад. Внутри.

Слово «внутри» повисло над ними пусто.

Боря засмеялся первым — быстро, громко, чуть резче, чем нужно.

— Ну классно. Очень смешно. Прямо клад.

Кто-то из младших тихо всхлипнул. Хулиган буркнул:

— Кто так шутит — по морде попросится.

Кто-то поддержал, кто-то промолчал.

— Ладно, — сказал Боря уже спокойнее. — Пошли. Тут больше ничего нет.

Круг начал распадаться. Одни ушли сразу, кто-то ещёковырял носком ботинка землю, словно надеясь, что под коробкой лежит что-то настоящее.

Алексей стоял чуть в стороне. Он и так знал, что будет в записке. Слова на бумаге были для него не про сундук, которого нет, а про то, что уже произошло по дороге: кто шёл впереди, кто держался сзади, кто больше всех верил, а кто сомневался и всё равно пошёл.

Света не смеялась и не ругалась. Она посмотрела на ко-

робку, потом на яму, потом подняла глаза на него. В этом взгляде не было вопроса — только проверка.

— Это ты? — тихо спросила она, когда остальные уже начали расходиться по тропинке.

Он подумал, можно ли сделать вид, что не понял, о чём она. Решил, что нет.

— Да, — сказал он просто.

Она кивнула — коротко, без удивления.

— Понятно, — сказала Света.

И пошла к остальным.

Алексей остался на секунду один возле ямы и закрытой коробки. До этого момента ему казалось, что в основном это он смотрит на людей, а не они на него. Теперь стало ясно, что кто-то может смотреть и на него так же внимательно. Мысль была не страшной и не приятной — просто новой. Он отметил её отдельно и решил запомнить.

На этот раз урок был не интересен с самого начала.

Нина Васильевна писала что-то на доске мелом, который ломался слишком часто. Цифры и палочки тянулись по зелёному полю, в классе шуршали тетради, кто-то тихо сопел носом. Воздух был тяжёлый от зимних курток, снятых наспех и сваленных в угол.

Алексей сидел за своей второй партой у окна и аккуратно выводил цифры в клетках. Урок шёл ровно, без сюрпризов. Он не думал ни о карте, ни о коробке. Просто делал то, что

просили, и слушал, как мел скребёт по доске с разной силой.

Сзади что-то тихо шуршало, но он не оборачивался. За спиной жили свои звуки: перешёптывания, короткие смешки, скрип стула, который никак не могли перестать качать. Это была обычная фоновая жизнь класса, не настолько громкая, чтобы учительница сразу обернулась.

В какой-то момент шорох сменился на тихий хлопок — будто что-то мягкое ударилось о стену. Потом раздался приглушённый хохот. Нина Васильевна остановилась, не дописав пример, и повернулась к классу.

— Это что сейчас было? — спросила она. Голос у неё был не злой, а уставший.

Сзади мгновенно стало тихо.

— Я спрашиваю, — повторила она. — Кто это сделал?

Никто не поднял руку. Даже те, кто обычно тянулся первыми — хотя бы чтобы сказать «не я».

Она повела взглядом по рядам, задержалась на задней парте, где сидел хулиган, рядом — ещё двое. Потом взгляд перескочил вперёд, на тех, кто формально считался «спокойными».

— Встанут вот эти, — сказала она. — Ты, ты, ты... и ты. Палец остановился на Алексее.

Он поднялся, хотя не понял, почему. В этот момент он как раз дописывал цифру в тетради и точно знал, что не кидал ничего и не шептался. Но правило «встань, когда сказали» уже было встроено, и тело отреагировало раньше, чем

МЫСЛЬ.

Четверо встали. Хулиган сзади, его сосед, ещё один мальчик и Алексей у окна.

— Будете стоять, пока не извинитесь, — сказала Нина Васильевна. — Мне всё равно, кто начал.

Она повернулась к доске и продолжила писать пример, как будто тема была закрыта.

Алексей сначала просто стоял. В классе это было не так необычно — иногда кого-то поднимали «за разговоры», и он привык к этой фигуре: человек на ногах среди сидящих. Нога немного затекла, но это не мешало думать.

Слова «пока не извинитесь» вернулись к нему чуть позже. Он вернулся к ним, как к строчке в задаче, которую сначала пропустил.

Первым не выдержал сосед хулигана.

— Извините, — выдохнул он тихо.

— Садись, — сказала Нина Васильевна, не оборачиваясь.

Второй сказал то же самое, добавив привычное «больше не буду». Третий повторил. Формула у всех была примерно одинаковая. Никто не уточнял, за что именно извиняется.

Трое сели.

Стояли двое: хулиган сзади и Алексей у окна.

Хулиган замаялся, повернул голову, посмотрел на тех, кто сидел. В его взгляде было что-то вроде: «если я первым начну, будете надо мной смеяться». Потом он всё-таки сказал:

— Извините, — и добавил уже почти беззвучно: — На-

верное.

— Сядь, — отозвалась Нина Васильевна автоматически.

Он сел.

Остался один Алексей.

Он ещё раз прокрутил в голове последовательность: шум, хлопок, смех, вопрос «кто это сделал», молчание, «ты, ты, ты и ты». За этот урок он ничего не бросал, не шептался, не смеялся. Если бы это была задача, в строке «его действия» стоял бы ноль.

Чтобы извиниться, нужно было сказать «я сделал что-то не так». Но он не мог найти внутри этого «что-то».

Можно было просто произнести слова. Для других это была кнопка: нажал — сел. Ему слова всё ещё казались ближе к описанию, чем к кнопке. Если он скажет «извините», учительница решит, что он действительно участвовал. Это было бы неправдой.

Он стоял и молчал.

В какой-то момент Нина Васильевна обернулась и только тогда заметила, что один так и не сел.

— Ты чего стоишь? — спросила она. — Скажи «извините» и садись.

Он посмотрел на неё.

— А за что? — спросил он.

В классе стало тише. Кто-то перестал шуршать страницами, кто-то поднял голову.

Она нахмурилась, будто вопрос был лишним.

— За то, что мешал на уроке, — сказала она.

— Я не мешал, — спокойно ответил он.

Он не повышал голос, не спорил. Просто сообщил то, как видел.

— Ты стоишь вместе со всеми, — сказала она. — Значит, мешал.

Эта логика его задела особенно. Получалось, что сам факт стояния превращал его в виноватого, даже если до этого ничего не было. Как если бы сначала выбрали ответ, а потом под него придумали задачу.

Он ещё раз прикинул, может ли всё-таки сказать нужные слова «просто чтобы сесть». Тело этого хотело: ноги ныло, спина устала. Но фраза всё равно застревала где-то между горлом и языком.

— Я не мешал, — повторил он чуть тише.

Нина Васильевна вздохнула.

— Тогда стой, — сказала она. — Пока не поймёшь.

Она повернулась к доске. Урок пошёл дальше.

Оставшуюся часть урока он стоял. Сначала считал примеры в уме вместе со всеми, потом просто слушал, как меняется шум в классе. На какой-то момент он даже забыл, что стоит, — ноги превратились в две длинные палки, отдельно от головы.

Иногда на него оборачивались: кто-то с любопытством, кто-то с лёгкой жалостью, кто-то с тем самым «ты странный». Боря пару раз пытался поймать его взгляд, показать

мимикой: «Ну скажи уже что-нибудь, садись».

Света почти не смотрела. Один раз только подняла глаза, увидела, что он всё ещё на ногах, и опустила их обратно в тетрадь. В этом движении не было ни одобрения, ни осуждения — просто отметка: ничего не поменялось.

Звонок прозвенел неожиданно громко. Кто-то вздрогнул, кто-то сразу захлопнул тетрадь. Нина Васильевна сказала свою обычную фразу про домашнее задание, сложила журнал, ещё раз посмотрела в его сторону и вышла.

Он сел только тогда, когда класс начал вставать и собирать вещи. Не по команде, а просто потому, что урок закончился, и у стояния больше не было рамки.

В коридоре Боря догнал его почти бегом.

— Ты чего не извинился? — выпалил он. — Сказал бы — и сел.

Алексей пожал плечами.

— А за что? — спросил он второй раз за день.

— Ну... — Боря сбился. — Ну так. За компанию.

Слова «за компанию» показались ему особенно странными. Получалось, что можно было извиняться не за действие, а за то, что ты оказался рядом. Как будто вина передавалась по воздуху.

— Я этого не делал, — сказал он. — «За компанию» — это не то.

— Ты странный, — сказал Боря без злобы. — Никто же не думал, что это ты.

Алексей на секунду остановился.

— А теперь будут думать, что делал, — сказал он. — Если извинюсь.

Боря ничего на это не ответил. Пожал плечами, как будто говоря «сам решай», и побежал к тем, кто уже спускался по лестнице.

Алексей остался на площадке один. Он смотрел на потёртый линолеум, на стену с облупившейся краской и думал, что вокруг много вещей делается «за компанию» — чтобы не вылезать из круга. Ему это напоминало задачи, где сначала подгоняют ответ, а потом придумывают под него числа.

Он ещё не умел объяснить это взрослым словами, но внутри у него уже была маленькая жёсткая деталь, которая не позволяла говорить «я виноват», если он точно знал, что нет.

Глава 10.

Чемодан у двери стоял давно.

Не новый, не броский, просто ещё один предмет в коридоре. Внутри лежали документы в прозрачной папке, немного денег, бельё, тёплые вещи, аптечка. Его называли коротко:

— Чемодан на всякий случай. Пусть стоит.

Он почти перестал его замечать. Как не замечают выключатель, который всегда на своём месте. Но иногда, проходя мимо, всё-таки думал, что это вещи не «куда поедем», а «если что-то случится».

По телевизору часто повторялись одни и те же слова: «тер-акт», «взрыв», «Чечня». Показывали тёмные окна, людей в

кюртках, машины с мигалками. Мама иногда задерживала взгляд на экране, вздыхала, переключала канал и шла на кухню варить суп, как будто «опять» и «суп» жили рядом и не мешали друг другу.

Однажды вечером она сказала:

— На осенние каникулы я везу группу в Питер. Школьную. Стас поедет. И Лёша со мной.

Сказала это между делом, снимая очки и откладывая тетради. Но воздух в комнате сразу поменялся. У Стаса мелькнуло довольное «само собой». Алексей посмотрел на маму, потом на чемодан у двери — привычный — и подумал, что его наконец откроют не из-за «если», а из-за «когда».

Младшая сестра подняла голову от рисунка.

— Я тоже поеду, — сказала она спокойно.

— Ты ещё маленькая, — ответила мама. — Это поезд, другой город, экскурсии. За всеми надо смотреть.

— Я не маленькая, — тут же возразила сестра. — Я могу далеко ехать. Я буду тихо.

Сказала это очень серьёзно, без плача. Как будто речь шла не о поездке, а о праве попасть в какой-то новый этап жизни. Мама всё равно покачала головой:

— Когда подрастёшь, поедem. Сейчас я за вас двоих уже переживаю, а ещё за всю группу.

Разговор повторился ещё раз утром, уже короче. Итог был тот же. Сестра ушла в комнату, громко села на кровать и какое-то время не смотрела в их сторону.

Собирать начали за неделю.

Чемодан открыли. Документы переложили в другую сумку, положили рядом билеты и список детей. На кровать разложили свитера, рубашки, носки.

— В Питере в ноябре сыро, — сказала мама. — Возьми потеплее. И шапку нормальную, не эту тряпку.

Она в который раз напоминала про шапку, шарф и «не сидеть на сквозняке». Про себя он вспоминал только одну настоящую «болезнь» — когда у них у всех троих сразу была ветрянка. Сначала Стас, потом он, потом сестра. Квартира тогда была в зелёных точках; их мазали, ругали за попытки чесаться и заставляли лежать. После этого ничего похожего в памяти не всплывало. Иногда его подводил желудок, если съесть что-то «не то», но лежать с температурой и таблетками почему-то больше не приходилось.

Стас сам кидал футболки и толстовки в свой угол чемодана. Мама потом молча всё перекладывала ровнее. Алексею она задавала короткие вопросы:

— Этого достаточно?— Достаточно.

Он не любил лишнего. Чемодан получался не набитым, а собранным.

Сестра пару раз заходила в комнату, прислонялась к косяку.

— Я тебе тоже чтонибудь привезу, — сказал он однажды.

— Настоящее, — уточнила она. — Не просто картинку.

Он кивнул. «Настоящее» и ему самому казалось важнее открытки.

Сон пришёл, когда чемодан уже наполовину был собран.

Ему снилось метро. Не то, по которому они ездили по Москве. Московские станции он уже знал: цвета линий на схеме, привычный грохот поездов, открытые платформы, запах железа и пыли.

В этом сне метро было другим.

Сначала — коридор. Длинный, ровный, стены гладкие, без афиш. Свет от ламп был чуть холоднее. Звук шёл изда- лека — не грохот, а ровный гул, как если бы за стеной рабо- тала большая машина.

Потом он оказался на станции.

Платформа была узкой. Вдоль неё тянулась ровная полоса панелей. Когда поезд подошёл, он сначала услышал низкий гул, а не привычное дребезжание. Поезд остановился, и вме- сте с его дверями начали двигаться части стен. Панели разо- шлись, открыли проход, люди вошли и вышли, потом снова сошлись в сплошную линию.

Во сне он почти не смотрел на лица — только на устрой- ство. На расстояния, высоту преград, паузу между звуком и движением. Всё это запоминалось не как история, а как схе- ма.

Проснувшись, он не мог вспомнить цвета, но конструкция оставалась чёткой. Он точно знал, что так не выглядит ни

одна московская станция. И что вместо названия в голове осталась только форма.

Ожидание поездки шло между обычными днями.

Он ходил в музыкальную школу. По дороге считал повороты, окна, переходы. В классе всё было как всегда: пианино, ноты, табурет, учительница.

— Ещё раз, — говорила она. — Не просто правильно, а музыкально.

В голове музыка звучала сразу целиком. Он заранее чувствовал, где мелодия должна повернуть, где — притихнуть. Пальцы же шли нота за нотой, иногда не успевая. Бывали моменты, когда мысль уже ушла к следующей фразе, а руки всё ещё доигрывали предыдущую.

Дома он всё чаще оказывался у плиты.

Мог сварить макароны, разогреть суп, пожарить яйца, что-то подсолить «на глаз». Мама не возражала:

— Только аккуратно. Плиту потом протри.

Ему нравилось, что вкус можно сдвинуть совсем чуть-чуть, и блюдо станет другим. Чай без сахара, чай с половиной ложки, чай с полной — это были три разные штуки.

Некоторые вещи он не мог есть.

Сырой лук, даже мелко порезанный, сразу становился единственным вкусом. В салате он чувствовал только его — остальные исчезали. Варёный лук он иногда не замечал, жареный терпел, сырой — нет.

Газировку он пробовал пару раз на днях рождения. Каждый раз пузырьки так щипали язык и нёбо, что хотелось быстрее проглотить, чтобы это закончилось. После оставалась только приторная сладость. Он допивал стакан из вежливости, но сам потом всегда выбирал обычную воду или чай.

Никто из взрослых не делал из этого выводов. Просто иногда говорили:

— У него рот тонкий. Всё чувствует.

Он не спорил. Для него это были просто факты: один вкус глушит остальные, другой даёт им жить.

День отъезда начался в темноте.

Мама варила яйца «в дорогу», резала курицу, укладывала хлеб, огурцы, немного соли в маленькую баночку. Проверяла документы, билеты, список детей, чужие телефоны на листке.

— Чемодан закрыли? — спросила она сама себя и тут же проверила замок.

Сестра сидела на кухонном стуле и рисовала. На листе был дом, дерево и длинная коробка рядом.

— Это что? — спросил он.

— Это мой чемодан, — ответила она. — Когда меня возьмут.

На вокзал они ехали втроём: мама, Стас, он. Сестра осталась дома с обещанием, что потом ей всё покажут на фото-

графиях.

На вокзале было многолюдно.

Голоса объявлений висели под потолком, под ними двигались люди, сумки, пакеты. Пахло железом, жареной едой, чаем, иногда табаком. Дети из группы держались ближе к маме. Кто-то громко рассказывал, что «уже сто раз ездил», кто-то молчал и смотрел на табло.

В вагоне было теснее, чем казалось снаружи.

Плацкарт тянулся длинным коридором. Полки, верхние и нижние, сумки, куртки, чьи-то пакеты с едой. Проводница раздавала постель, показывала, как крепить полку, где складывать вещи. Мама распределяла детей по местам, проверяла, чтобы никто не потерялся.

Запахов стало больше: курица, яйца, колбаса, хлеб, чай, металлический привкус кипятка, чужое мыло. Он лёг на свою полку и немного послушал.

Поезд дёрнулся, колёса начали стучать. Сначала неровно, потом — ровным ритмом: «тук-тук-тук-тук». Люди ещё долго переговаривались, открывали и закрывали сумки, делились едой.

Стук сначала мешал, потом стал фоном — как метроном, к которому можно подстроить дыхание. В глубине этот ритм соединился с тем низким гулом из сна про другое метро. Алексей подумал об этом пару секунд и незаметно провалился в сон.

Утро в Питере было серым и мокрым.

Окна вагона запотели, по стеклу ползли тонкие капли. На перроне люди шли медленно, в шапках и куртках. Холод был не острым, а липким — обволакивал.

Он вдохнул и сразу почувствовал: здесь влажнее. Воздух тяжелее ложился в грудь, как будто в нём было больше воды.

— Вот наш конец ноября, — сказала мама. — Самое подходящее время, чтобы заболеть.

Сказала почти шутя, но тут же поправила его шарф.

Он только кивнул. В голове всё ещё не находилось примеров, когда от такого воздуха с ним что-то происходило.

До гостиницы ехали автобусом. За окном тянулись дома, которые отличались от московских больше не формой, а тем, как они стоят: плотнее, ниже, ближе к воде. Ветер время от времени бил в боковые стёкла.

Гостиница оказалась запутанной.

Коридоры шли полосами, поворачивали под прямым углом, упирались в такие же коридоры. На полу — одинаковый ковролин, на стенах — одинаковые светлые полосы. Двери с номерами почти не отличались одна от другой. Лестницы были в разных концах, таблички с этажами — не там, где он их ожидал.

Мама шла впереди с пачкой ключей и списком комнат. Стас пытался запомнить номер «их» комнаты и делал вид, что не боится заблудиться. Остальные дети тянулись цепоч-

кой, кто-то шептал рядом:

— Если отстанешь, так и будешь тут жить.

Алексей шёл ближе к середине и по привычке начал считать.

Три поворота вправо, один налево. Сначала окно, потом картина, потом нужная дверь. Он отметил, где висит огнетушитель, где на стене окно, где просто пустой отрезок. С первого раза схема была не до конца ясной, но внутри уже начертался простой маршрут: лестница — поворот — коридор — их комната.

В Зимний они пошли на следующий день.

Залы сменяли друг друга: золото, колонны, зеркала, картины. Люди на стенах были выпрямленными и нарядными, с серьёзными лицами. Мама рассказывала группе, кто где изображён, что за время, что за события.

Он слушал вполуха, больше смотрел. На то, как падает свет на лица, как написаны руки, как в одних портретах ощущается живой человек, а в других — просто краска.

В одном зале он вдруг сам остановился.

На одной из картин женщина сидела у пианино. Платье светлое, спина прямая, голова чуть повернута. Но в первую секунду он смотрел не на неё, а на инструмент.

Крышка с знакомым изгибом. Панель над клавиатурой с тем самым рисунком. Ножки — такие же, как у пианино, стоящего у них дома. Даже угол, под которым была видна кла-

виатура, совпадал с тем, что он видел каждый день.

Он сделал шаг ближе.

— Мам, — тихо позвал он, не отводя глаз от картины. —
Смотри.

Мама подошла, проследила его взгляд, посмотрела сначала на пианино, потом на женщину.

— Похоже, — сказала она. Потом уже увереннее: — Это оно. Наше пианино. И это — твоя прапрабабушка. Та самая графиня из альбома у бабушки.

Он вспомнил ту карточку: выцветший снимок, та же женщина, тот же инструмент в другом ракурсе. Тогда это была просто «графиня из нашей семьи когда то давно». Теперь тот же инструмент стоял и у них в комнате, а он на нём с трудом проигрывал гаммы.

На секунду всё выстроилось в линию: этот зал, картина, бабушкин альбом, их квартира, он за пианино. Пианино оказалось не просто тяжёлой мебелью, а предметом, который уже был здесь, в этом городе, в другом времени.

Мама повела группу дальше. Он задержался ещё на секунду, потом пошёл следом.

В метро они спустились после музея.

Эскалатор был длинный. Свет — равномерный и холодный. Стены — гладкие. Воздух становился суше с каждым метром вниз, звук — гуще.

Он почувствовал знакомое ещё на середине: как в сне. Не

картинку, а внутреннее «я уже здесь был».

Станция подтвердила это.

Платформа — узкая, вдоль неё тянулась линия панелей. Когда поезд подошёл, сначала появился низкий гул. Когда он остановился, панели начали двигаться вместе с дверями. разошлись, открыли проход, потом снова закрылись.

Он стоял рядом с мамой, держась за поручень, и смотрел. Голос объявлений, шум детей, шаги — всё на секунду ушло на второй план.

Кто-то из ребят спросил:

— А зачем к дверям ещё одни двери?

Один из взрослых, шедший рядом, ответил:

— Чтобы тоннель не затопило, если вода пойдёт. Тут же рядом река.

Поезд тронулся. Панели снова сложились в ровную стену, и станция исчезла в тоннеле — странно знакомая, как место, которое сначала приснилось, а потом попало по дороге.

Дни в Питере тянулись цепочкой.

Они ходили по улицам, где дома были ниже и плотнее. По набережным, где вода была тёмной и тяжёлой. По мостам, где ветер продувал насквозь. Мама рассказывала про осаду, революции, писателей. Дети часть слушали, часть ждали, когда «отпустят».

Он запоминал город слоями.

По звуку: шуршание машин по мокрому асфальту, стук

капель по зонтам, гул в арках, шаги в подъездах. По воздуху: влажный холод, от которого к вечеру становилось тяжелее двигаться. По свету: день без настоящего солнца, как длинное серое утро.

В столовой еда была другой.

Супы жирнее. Чай слаще, чем дома. Котлеты одинаковые. Он ел и сравнивал: «дома легче», «у нас не так солоно». Когда подворачивалось что-то незнакомое, почти всегда пробовал — не чтобы понравилось, а чтобы понять, как это «по-другому».

В сувенирном киоске у одного из музеев он долго вертел в руках маленькие вещи на полке. Магниты с видами города казались слишком плоскими, открытки — как картинки из телевизора. В конце он выбрал небольшую стеклянную птичку: прозрачную, с чуть синеватым крылом. Такая могла стоять на столе или прятаться в ладони. Он расплатился, попросил завернуть в бумагу и убрал коробочку в дальний карман рюкзака. До дома она должна была доехать целой.

К концу поездки один из мальчишек из группы всё-таки слёг — сначала жаловался, что мёрзнет, потом его оставили в гостиничном номере с термометром и лекарством. Мама по вечерам ещё раз пересчитывала детей по фамилиям и просила всех надевать шапки.

Ему нравилось не только то, что показывали, но и сам факт дороги: что можно ехать куда-то, где всё устроено иначе, и складывать это «иначе» у себя в голове.

Дома в их комнате на столе уже несколько дней лежала расчищенная сестрой полоска — она заранее освободила место «для подарков, когда меня наконец возьмут». Птичка встала туда легко, как будто действительно всё это время ехала не просто в рюкзаке, а к этому прямоугольнику на столе. Он поставил её и только тогда почувствовал, что поездка полностью закончилась.

Регистр: Объект N01: эпизодически фиксируются сновидческие конструкции, опережающие поверхностный слой реальности. Итог: уровень сознательного доступа без изменений; наблюдение продолжить.

Глава 11.

Экскурсию отменили на обычном уроке.

Завуч зашла в класс, что-то сказала Нине Васильевне. Та выслушала до конца, кивнула, дождалась, пока дверь закроется, и только потом повернулась к ребятам.

Сначала она сказала, что музей сегодня «не принимает группы». Потом — что экскурсию переносят на другое время. Потом уже коротко и понятно:

— Деньги вам возвращают. Всё, что приносили от родителей. Заберёте и дома обязательно отдадите обратно.

Фамилии пошли по списку. Дети по одному подходили к столу, брали конверты; кто-то радовался, что «не надо ехать», кто-то хмурился. Бумага шуршала, стулья скрипели.

Его вызвали ближе к середине.

Конверт был чуть мятый. Внутри — знакомая купюра и

мамина подпись на маленьком листке. Больше ничего. Он взял его двумя пальцами, как предмет, у которого уже есть маршрут: от мамы — в школу, из школы — обратно к маме.

— Не потеряйте, — сказала Нина Васильевна. — Это родительские деньги. Отнесёте домой, понятно?

Он кивнул. Слово «отнесёте» легло как стрелка на схеме: школа — дом. Без развилки.

Он сел и положил конверт во внутренний карман. Так он оказался ближе к телу, чем к парте.

На перемене Егор нашёл его быстро.

Вынырнул из-за спин, будто продолжал разговор, которого ещё не было.

— Пошли в буфет, — сказал он.

— Зачем? — спросил Алексей.

Егор слегка коснулся пальцем его кармана, даже не заглядывая.

— Нам же вернули, — сказал он. — Экскурсии нет. А деньги есть. Мы же всё равно уже заплатили. Давай сделаем себе маленький праздник вместо экскурсии.

Слово «праздник» прозвучало так, будто речь шла о чём-то законном, как о награде, которая и так положена.

Алексей вспомнил фразу про «дома обязательно отдадите».

— Эти надо вернуть, — сказал он. — Маме.

— Вернём, — легко согласился Егор. — Просто не сразу.

Сегодня — ты на свои угощаешь нас двоих. Завтра — я так же. Чтобы почестному. Никто не проигрывает.

«Сегодня ты, завтра я» легло между ними ровной палочкой. Не как шёпот про тайну, а как правило, которое можно написать в тетрадке.

— А если мама спросит? — всё-таки уточнил Алексей.

— Я своей уже отдал, — не моргнув сказал Егор. — Сразу. У нас всё просто. Скажу, что вернули попозже, и всё. Главное — мы с тобой договорились.

В голосе Егора было что-то лёгкое, привычное: как будто такие договоры он уже заключал не раз и каждый раз всё обходилось.

Алексей посмотрел в окно. Там шла обычная перемена: кто-то бегал, кто-то стоял у стены, кто-то ел бутерброд. Никаких знаков, куда правильно повернуть.

Он снова ощутил конверт у груди — как точку на схеме, от которой может идти вторая стрелка, не только домой.

— Один раз, — сказал он. — И всё.

— Один раз, — тут же повторил Егор. — Я запомнил.

Он улыбнулся так, будто они только что придумали что-то удачное, почти хитрое, но всё равно честное.

В буфете пахло сосисками, булочками и сладким чаем.

Обычно он покупал одну булочку и брал чай в кружке. Сейчас поднос сразу стал тяжелее. Егор, не спрашивая, положил на него пирожное, ещё одно, булочку с корицей, пару

простых булочек и два пакета сока.

— Этого хватит, — сказал он. — И это всё равно меньше, чем экскурсия.

Деньги доставал Алексей. Купюра вышла из конверта спокойно, без сопротивления. На прилавке она выглядела так же, как любая другая купюра в очереди.

Кассирша взяла её, пробила, в ящике кассы звякнуло. Никаких особых взглядов. Никакого «а это точно ваши деньги?». Всё происходило так, будто маршрут купюры всегда был именно таким.

Они сели у окна.

Егор ел с явным чувством праздника. Жонглировал ку-сочками, шутил, сравнивал пирожные, говорил, что им повезло: «и в музей не надо, и сладкое есть». Сок пил большими глотками, откидывался на спинку стула.

Пирожное было мягким, крем — очень сладким, булочка — тёплой. Алексей чувствовал вкусы, как всегда. Только вместе с ними подмешивалось ещё одно ощущение — как будто под знакомой мелодией вдруг заиграл другой, лишний слой.

Он ел медленнее.

Одно пирожное он почти сразу отодвинул в сторону.

— Не хочешь? — удивился Егор. — Нормальное же.

— Хочу, — сказал он. — Я Вике отнесу.

— А, — протянул Егор. — Ну да. Правильно. Ей тоже что-то.

Алексей аккуратно завернул пирожное в несколько салфеток, проверил, не протекает ли крем, и положил в рюкзак, отдельно от тетрадей. Так этот кусочек «праздника» получил своё назначение: не просто сладкое, а подарок тому, кто почти никуда не ходит и редко бывает «на экскурсиях».

От этого стало чуть легче дышать.

Когда прозвенел звонок, «сегодня ты, завтра я» уже почти не вспоминалось. День снова занял голову задачами, упражнениями и переменами. Только конверт в кармане был пуст, а рюкзак — тяжелее на одно пирожное.

Домой они шли вдвоём со Стасиком.

Стас шёл вперёд и всю дорогу рассказывал про новый уровень в игре. Руки у него работали так, будто он по-настоящему перепрыгивал ямы и бился с кем-то невидимым. Алексей кивал в нужных местах и считал повороты.

Конверт в кармане теперь был просто прямоугольником воздуха. Рюкзак чуть тянул плечо.

У подъезда Стас сорвался вперёд, как всегда. Он же задержался на ступеньке, поправил лямку, проверил, не смялось ли пирожное.

Дома пахло супом.

Мама была на кухне, волосы убраны, рукава закатаны. Она одновременно помешивала кастрюлю и смотрела на чайник.

— Ну как экскурсия? — спросила она обычным тоном.

— Её отменили, — ответил он. — Музей не принимает группы. Нам деньги вернули.

Он достал из кармана конверт и положил на стол. Пустой конверт легче было показать, чем сразу объяснять.

Мама заглянула внутрь, провела пальцем по сгибу, будто проверяя, не прилипло ли что-нибудь.

— Пусто, — спокойно сказала она. — Значит, эти деньги уже успели побывать где-то ещё.

Он молчал.

— Я сейчас говорила с мамой Егора, — добавила она так же ровно. — У них экскурсию тоже отменили. Ему деньги вернули, и он принёс их сразу. Без буфета.

Слова «принёс их сразу» будто встали отдельно, не рядом с его пустым конвертом, а чуть выше.

— Поможешь мне догадаться, где были твои? — спросила она тем же спокойным голосом.

Он почувствовал, как внутри стало теснее.

— Мы... ходили в буфет, — сказал он. — Я купил нам. На перемене. На эти деньги.

— Понятно, — сказала она. — Это вы с Егором придумали?

— Он сказал, что мы всё равно уже заплатили, — торопливо произнёс он. — Что сегодня я покупаю на нас двоих, а завтра он тоже. Чтобы почестному. Я думал... что это как договор.

На слове «Егор» внутри что-то дрогнуло: образ того, кто «сразу принёс», и того, кто предлагал буфет, не складывались в одного человека.

Она опёрлась ладонью о стол.

— Знаешь, я сейчас даже не пытаюсь вспомнить, сколько именно там было, — сказала она. — Не в сумме дело. Я тебя просила одно — донести до дома. Ты решил по пути сделать по-другому. Мне важно, чтобы ты это сам увидел. Не для того, чтобы тебя ругать, а чтобы ты понимал, где свернул.

Он кивнул, глядя в стол.

— Я боялся, что ты расстроишься, — честно сказал он.

— Я расстроилась, — ответила она. — Но если ты сейчас честно рассказываешь, мне уже легче. Деньги мы не вернём, и дело не в этом. Просто в следующий раз я хочу, чтобы ты сначала мне сказал, а потом уже менял маршрут.

Она чуть улыбнулась, совсем слабо:

— С булочками как раз всё ясно. Вы дети. Мне важно, чтобы ты не прятался.

Он выдохнул.

В этот момент он понял, что никакого «верни» не будет. Но от этого внутри всё равно оставалась отметка: здесь он поступил не так, как договаривались.

— Хорошо, — сказал он. — Я запомню.

— Вот это главное, — кивнула она. — Всё, иди переодевайся.

Он вышел из кухни и на секунду прислонился спиной к

стене в коридоре. В голове крутились две фразы: «Егор сказал, что уже отдал» и «Егор принёс их сразу». Они не совпали. Он понимал, что люди иногда поразному рассказывают одно и то же, но здесь разница была слишком прямой. К Егору он теперь присматривался уже не только как к тому, с кем можно «договориться», а как к тому, кто легко меняет версии по дороге.

В комнате он первым делом вытащил из рюкзака свёрток из салфеток. Крем чуть приплюснулся, но не вытек.

Вика лежала на кровати, смотрела в потолок. Рядом — книжка с картинками и коробка с карандашами.

— Привет, — сказал он. — Я тебе коечто принёс.

Она повернула голову.

— Из музея? — спросила она автоматически. Слово «музей» у неё было отдельной полочкой: место, куда ходят другие.

— Нет, — честно ответил он. — Из буфета.

Он развернул салфетки. Пирожное выглядело так, будто специально ждало именно её.

— Ты почему мне? — удивилась Вика. — Там же вкусно.

— Потому что ты никуда не ходила, — сказал он. — Пусть хоть пирожное к тебе сходит.

Он попытался улыбнуться. Получилось криво, но она будто не заметила.

Вика аккуратно взяла пирожное, поднесла ближе.

— А ты? — спросила она. — Ты ел?

— Ел, — кивнул он. — Там было много всего.

Он сел на край её кровати и смотрел, как она откусывает маленькие кусочки, стараясь не испачкать одеяло. В этот момент пирожное казалось на своём месте. Не чужим.

Про деньги он не говорил. Это была его собственная задача, не её.

Вечером он сидел за столом и раскладывал перед собой свои деньги.

Купюра, пара помятых бумажек поменьше, несколько монет, открытка, в которой лежала подарочная купюра от бабушки. На листке в клетку он писал цифры, складывал, вычитал. Сумма то сходилась, то расплзалась — то он забывал монету, то считал её дважды.

Теперь это были просто его деньги. Не те, что он обязан вернуть, а те, через которые он мог сам проверить: сколько для него стоит такой «праздник».

Он поймал себя на том, что мысленно всё равно сравнивает две суммы: ту, что была в конверте, и то, что лежало перед ним. И каждый раз, когда получался разрыв, внутри что-то дёргалось.

Он закрыл глаза и ещё раз прокрутил день: конверт, буфет, стол у окна, мамины слова на кухне, фраза про Егора. В одном месте чётко вспыхивала развилка, где он мог сказать «нет» и не сказал.

Листок он не стал показывать маме. Сложил его и положил в тетрадь по математике, между страницами с задачами на сложение и вычитание. Деньги убрал в коробку.

«Это мой долг самому себе», отметил он. Не в рублях, а в памяти.

С языком к тому времени всё было иначе.

Французский он учил уже третий год. Сначала буквы, потом простые фразы, диалоги из учебника. Слова, которые все повторяли хором, давно стали привычными.

Учительница включала записи с носителями не первый раз. Но всякий раз, когда новый голос звучал из динамика, у него внутри что-то щёлкало на своё место. Интонации, паузы, то, как фраза идёт вверх или вниз, ложились сразу.

— Повтори, — говорила она.

Он повторял. Почти так же, как на записи. В классе кто-то усмеялся, кто-то пробовал за ним.

— У тебя ухо, — сказала учительница однажды. — Ты язык слышишь.

Ему казалось естественным: услышал — значит, можно сказать. Как будто рисуешь уже знакомую линию.

А вот когда нужно было писать, рука снова отставала. Слова спотыкались на бумаге, буквы догоняли мысль, в тетради оставались исправления. Похоже было на то, как он позже будет играть музыку: внутри уже всё сложилось, а снаружи нет.

В музыкальной школе это почувствовалось особенно ясно — и закончилось одним движением.

На сольфеджио он по-прежнему легко угадывал интервалы. На слух подбирал простые мелодии. Учительница говорила, что у него очень хороший слух, и это звучало как факт, а не похвала.

Но на фортепиано всё шло по-другому.

На экзамене нужно было сыграть заданное произведение. Ноты он знал. Руки помнили последовательность. В голове это произведение звучало чуть шире, чем в тетради: с какими-то внутренними акцентами, которых не было в печати.

Он сел, поклонился, положил пальцы на клавиши и начал играть.

Первые такты прошли по плану. Потом музыка внутри пошла чуть быстрее. Там уже случился следующий поворот фразы, а пальцы ещё были в прошлом. Он пытался догнать, но разрыв только рос: внутри уже звучало дальше, чем он мог сыграть.

В какой-то момент он отчётливо понял: так будет всегда. Мысль и слух побегут впереди, пальцы не догонят. Он будет всё время играть хуже, чем слышит.

На этом месте он остановился.

Просто убрал руки с клавиш, аккуратно встал посреди произведения и, не глядя ни на экзаменационную комиссию, ни на учительницу, повернулся и пошёл к двери.

Кто-то окликнул его по имени, кто-то шумно отодвинул стул, но он сделал ещё пару шагов и вышел в коридор.

Так его музыкальная школа закончилась одним моментом — без формального решения, без разговоров о будущем. Всё уже было решено внутри в ту секунду, когда он поднялся из-за инструмента.

Позже, дома, он смог объяснить это словами. Но тогда, в коридоре, было только гулкое эхо от собственного шага и очень спокойная мысль: «я не хочу всё время немного врать музыке».

В школе тем временем готовились к выпускному спектаклю.

Классная долго вспоминала, кто как читает стихи, кто не боится доски.

— Лёша громко читал, когда мы только поступали, — сказала она. — Помните? Встал и не сбился ни разу.

В итоге одну из главных ролей дали ему. Не самую «геройскую», но ту, где много текста и много разных состояний.

Он получил тонкую распечатку сценария, принёс её домой. Слова быстро ложились в память, как французские фразы. Но на этот раз ему было важно не только запомнить порядок.

Он ходил по комнате и пробовал говорить текст по-разному. Стоял, как персонаж. Дышал чуть иначе. Менял голос. Он замечал, как меняется чувство внутри, когда он говорит

не «от себя», а как будто через другую линию.

На репетициях это оказалось заметно.

— Он как взрослый актёр, — сказала кто-то из учителей в коридоре. — Подхватывает интонацию и не теряется.

Боря был его партнёром по сцене. На репетициях он держал текст крепко, не выпуская. С ним было надёжно: если кто-то забудет очередную фразу, Боря подхватит.

Света тоже участвовала в спектакле. Не главная роль, но заметная. В те моменты, когда они оказывались на сцене одновременно, Алексей особенно следил, как она стоит, куда смотрит, как делает паузы. Ему хотелось быть с ней в одной общей мелодии сцены.

За день до спектакля он впервые за долгое время по-настоящему заболел.

С утра было странное состояние: голова тяжелее, чем обычно, тело будто плохо слушается. В школе всё ещё держалось на привычке. Ближе к вечеру его знобило.

Мама потрогала лоб и почти сразу сказала:

— Температура. Ни в какой спектакль ты завтра не пойдёшь. Здоровье важнее.

У неё было трое детей. Для неё это всегда стояло первым: никаких дополнительных рисков ради праздников.

Для него спектакль был уже частью договора: с классом, с Борей, с учительницей, со всеми, кто репетировал. Он дал слово выходить и говорить текст. Они на него рассчитывали.

— Но я обещал, — сказал он. — Если меня не будет, сцена не сложится.

— Сцена переживёт, — ответила мама. — У меня трое, и мне важно, чтобы все были живы и более-менее здоровы. Заболеть посерьёзнее из-за спектакля — глупо.

Они спорили тихо, без криков.

Он говорил про долг перед классом, про то, что «так нельзя — подводить своих». Она — про то, что любой праздник можно пережить без одного ребёнка, а вот организм — не всегда.

В конце они договорились: посмотрим утром. Это было временное перемирие, а не решение.

К утру температура спала почти до нормальной, но тело ещё было вялым, как после длинной болезни. Голова работала ровно, без всплесков, только иногда звуки становились чуть глуше, как если бы кто-то прикрывал ладонью уши.

— Если что-то пойдёт не так, сразу уходишь домой, — сказала мама, застёгивая ему рубашку под костюмом. — Никаких «ещё чуть-чуть». На самом спектакле будешь, а после сразу возвращаешься.

Он кивнул. Внутри был странный сплав: немного слабости и много решимости. Реплики он знал почти наизусть. Пугало не забыть слова, а перепутать себя с тем, кого должен играть.

В школе пахло гримёркой и мокрыми куртками.

Коридор перед актовым залом был забит детьми в костюмах: кто-то в парике, кто-то в шапке, кто-то держал в руках пластиковый меч, который всё время норовил задеть соседей. Учительница режиссёр ходила вдоль стены, как дирижёр, который перед выходом проверяет не ноты, а людей.

— Готов? — спросила она у него, останавливаясь на секунду.

— Да, — сказал он. Голос прозвучал чуть глуше, чем обычно, но ровно.

За кулисами свет был жёлтый и плотный. Сцена казалась отдельным миром, отделённым от их обычного класса не только занавесом, но и тем, что там всё уже придумано заранее.

Когда объявили начало, в зале стало шумно по-другому: не как на перемене, а как в большой комнате, где все притворяются тихими, но не до конца.

Он вышел на сцену в первый раз и сразу почувствовал, что здесь всё перевернулось.

Свет из зала бил в глаза, лица расплывались темнотой. Он видел не людей, а движения: как кто-то наклоняется вперёд, как кто-то поправляет шарф, как блестит окуляр камеры, если кто-то из родителей снимает. Его собственный голос звучал чуть не его — собраннее, чем обычно. Слова, которые он дома просто читал, здесь ложились по-другому, как будто от них действительно что-то зависело.

Он говорил реплики и чувствовал, как тело двигается так,

как они репетировали: шаг в сторону, поворот головы, пауза, взгляд. Иногда ловил себя на том, что забывает про то, где стоит кулиса, а где край сцены. Был только прямоугольник света и те, кто в нём.

Сцена с Борей была одной из главных.

Они уже десятки раз прогоняли её в классе, но сейчас она казалась другой. У Бори голос тоже изменился, стал чуть громче и твёрже. Он говорил свои слова и одновременно проверял, совпадает ли интонация с тем, что они придумали на репетиции. Когда всё совпадало, внутри у Алексея появлялось чувство правильности — как когда угол в оригами сходится точно.

Иногда он успевал услышать сбоку короткий шёпот учительницы. Не слова, а вздох: «фух». Это «фух» означало «не подвели».

Чем дальше шёл спектакль, тем легче становилось говорить чужие слова. В какой-то момент он поймал себя на том, что ему нравится быть этим персонажем: чуть смелее, громче, прямее, чем он сам. Так, как будто ему на время дали ещё одну грань, и никто не будет спрашивать «почему ты такой», потому что всё списано на роль.

Финальная сцена прошла без сбоев.

Аплодисменты сначала были просто шумом, потом сложились в понятный рисунок: хлопки ближе, хлопки дальше, кто-то свистнул, кто-то крикнул имя. Он стоял в шеренге с остальными и кланялся, чувствуя, как костюм чуть тянет в

плечах, а голова стала тяжёлой — не от температуры, а от прожитого.

После спектакля коридоры снова стали обычными, но ещё какое-то время шли по инерции громко.

Дети бегали, кто-то уже переоделся, кто-то стоял в костюме с пакетом в руках. Родители искали своих, учителя благодарили, кто-то вручал цветы тем, у кого были «главные роли». Звук был рваный, без общего ритма, как будто спектакль кончился, а люди ещё не успели вернуться в свои обычные места.

Он стоял у стены, держа папку со сценарием, и ждал маму. Голова была тяжёлой от света и напряжения, но приятной тяжестью. Он чувствовал одновременно усталость и странную лёгкость — как после сильной грозы, когда воздух становится другим.

Когда поток людей стал редеть, Света догнала его в коридоре.

— Ты сегодня был совсем другой, — сказала она, останавливаясь рядом. — Такой... настоящий.

Ему понадобилось несколько секунд, чтобы переключиться с чужих реплик на свои. В голове по инерции крутились фразы персонажа.

— Это же роль, — выговорил он. — Там всё написано.

— Не всё, — покачала она головой. — Так не напишешь. Это ты уже сам.

Она сделала маленькую паузу, будто проверяя, успевает

ли он понять. Потом быстро наклонилась и поцеловала его в щёку. Легко, почти как раньше мама, когда он приходил из детского сада, но с другим ощущением.

Щека мгновенно стала горячей сильнее, чем от температуры утром.

Света тут же отступила на шаг назад.

— Мне к маме, — сказала она быстро. — Пока.

И убежала по коридору, смешавшись с теми, кто ещё не разошёлся.

Он остался на секунду один, с папкой, костюмом и этим коротким движением губ, которое уже невозможно было развидеть.

По дороге домой он мысленно положил рядом два дня.

Один — с буфетом и пустым конвертом. Там он был «не собой» в отношении к маминым словам и деньгам: слышал внутри одно, делал другое, подстраиваясь под чужую схему. После этого хотелось отменить всё назад и зачеркнуть.

Другой — со спектаклем. Там он тоже был «не собой» — говорил чужие слова, ходил, как другой человек. Но после этого ему не хотелось всё отменить. Наоборот, хотелось сохранить это ощущение, как ещё одну грань себя, которую он только что увидел.

Он сформулировал это так, как умел: в одном случае после «не себя» нельзя спокойно смотреть людям в глаза, и очень точно запоминаешь место, где свернул не туда. В другом — можно идти дальше, как будто ничего не сломалось,

а стало чуть целее.

Он ещё не знал, кем станет. Но уже довольно точно чувствовал, кем быть не хочет.

Глава 12

Утром он шёл в школу уже не только с портфелем, но и с плеером в кармане куртки. День, когда он купил его на рынке, запомнился как маленькое личное «до» и «после»: до этого музыка была либо в голове, либо чужой — из телевизора, чьих-то колонок во дворе, случайных магнитол в автобусах. Теперь у него появился свой кусок звука, который можно было включить, когда мир становился слишком шумным или слишком пустым.

Деньги он собирал долго. Мелочь из маминых «сдач», редкие купюры, которые бабушка давала «на мороженое», но он не всегда тратил. Монетки лежали в банке из-под кофе под кроватью, как ещё один секретный аккумулятор. Когда банка стала тяжёлой, он пересчитал всё несколько раз — в уме и вслух — и понял, что хватает на простой кассетный плеер и пару пиратских кассет. Вечером, когда все думали, что он делает уроки, он иногда пересчитывал не числа, а обложки книг на полке: прикидывал, на какие ещё хватит, если очень будет надо, и всё равно возвращался к плееру. Музыка в голове можно было крутить и так, а вот переключать её по кнопке — ещё нет.

На рынке он долго вертел в руках одинаковые серые корбочки с кнопками «play» и «rewind», прислушивался к словам продавца и к тому, как щёлкают крышки. Выбрал не самый красивый, а тот, у которого кнопка «стоп» нажималась чётче. Внутри это казалось важнее: если уж останавливать, то сразу.

Кассеты в коробке лежали вперемешку: рок с обложками, где всё чёрное и красное, поп-сборники с яркими лицами, старые альбомы, у которых обложка уже выцвела. Он брал их в руки, переворачивал и пытался по обрывкам названий понять, что внутри. Первой он выбрал тот сборник, где названия песен складывались в одну линию, как будто это была не россыпь, а маршрут. Это всегда было для него важно — чтобы даже список выглядел как дорога, а не куча.

Дома, надев наушники, он понял, чего именно не хватает в «мертвой» музыке, которую крутил телевизор. В большинстве песен она была как пустой коридор: слова идут, звуки есть, а той внутренней мелодии, которая живёт у него где-то за ушами, нет. В хорошей музыке — неважно, рок это, классика или странный инструментальный трек — он слышал сначала эту линию, а уже потом всё остальное. Попса, где всё было собрано по шаблону, казалась ему как аккуратно нарисованный, но пустой план квартиры, где никто не живёт.

С книгами было похоже. К этому времени он уже давно читал не только «для детей». Мама приносила с работы тон-

кие повести и толстые романы «про взрослых», и он проглатывал их так же, как теперь слушал сборники: до последней страницы, пока внутри не наступает тишина. Он никогда не пользовался закладками — просто закрывал книгу, запоминавая разворот: рисунок абзацев, строчку, на которой остановился. Утром пальцы сами находили нужную страницу, как будто между ними и бумагой был свой маленький маршрут. Книги и музыка становились двумя способами выключить мир, когда тот начинал звучать слишком грубо.

Во дворе и школе каждый второй теперь был «кем-то». Панки с ирокезами, в потерянных тёплых шапках, поверх которых всё равно торчали цветные волосы. Скинхеды в ботинках с белыми шнурками, которые громче всех говорили про «своих» и «чужих». Рэперы в широких штанах, у которых штанины шуршали по асфальту, как пакеты. На рюкзаках — названия групп, иногда написанные маркером прямо по ткани. «Ты кто?» — в их языке означало не «как тебя зовут», а «к какой стае ты себя сам записал».

Алексея пытались определить несколько раз.

— У тебя в тетрадях рок названия, ты что, металлист? — Плеер есть — значит, точно не лох, — говорил кто-то. — А чё ты тогда с ними не ходишь?

Он каждый раз терялся на секунду, потому что внутри у него не было такого списка. Ему нравилось слушать и тяжёлые гитары, и длинные классические вещи, и странные инструменты, которые вообще не похожи на песни. В те же дни

он мог читать роман про войну, книжку про устройство Вселенной и рассказ о том, как кто-то всю жизнь печёт хлеб. Всё это складывалось для него в одну карту мира. Но это было про музыку и истории, а не про форму брюк и длину волос. Объяснить это в два слова на перемене было невозможно, поэтому чаще всего он просто пожимал плечами и вставлял наушник обратно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.